

ЛИСАТРУМ



Веспера Холдлуэй

Веспера Холлоуэй Лисатрум

<https://litres.ru/74350053>

SelfPub; 2026

Аннотация

В тупике, которого нет ни на одной карте Лондона, стоит лавка «Лисатрум». Здесь продают не вещи — здесь продают двери: за каждой мир, где сбылось то, о чём попросил клиент. Плата — вперёд. Дверь даёт ровно то, что просили. А тот, кто войдёт второй раз, платит остатком души.

Помощник лавки, Феяс Ливрейз, выглядит на шестнадцать — и шестнадцать ему уже очень давно. Он не помнит своего первого дня, не знает, чем за себя заплачено, и никогда не открывает собственную дверь. Он только провожает чужих — и записывает.

Но однажды в лавку входит молодой учитель Ливес Верн Лингс — первый человек, который заинтересовался не дверьми, а самим Феясом. И лавка, умеющая ждать, начинает — очень медленно — отвечать.

Мрачная сказка для взрослых в духе Гильермо дель Торо — о цене желаний, о тех, кто просит не для себя, и о мальчике, который дежурит у чужих дверей, пока его собственная ждёт, когда он будет готов.

Содержание

ЛИСАТРУМ	6
Веспера Холлоуэй	6
Аннотация	7
Глава 1. Колокольчик, который звонит не для всех	8
1	8
2	12
4	28
5	35
6	40
7	46
8	50
9	56
10	61
11	67
12	75
13	82
ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 1	87
Глава 2. Три правила хранителя	88
1	88
1а	93
1б	96
2	98

3	101
3a	107
4	110
5	114
6	120
7	125
8	132
8a	135
9	138
10	143
10a	150
10б	153
11	155
11a	158
12	160
12a	164
13	166
ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 2	172
Глава 3. Дверь в прошлое	173
1	173
2	180
3	188
3a	191
4	197
5	206
6	210

7	217
7a	221
7б	227
8	230
9	234
9a	239
10	242
11	247
12	251
ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 3	255
Глава 4.	256
Конец ознакомительного фрагмента.	257

Лисатрум

ЛИСАТРУМ

Веспера Холлоуэй

Аннотация

В тупике, которого нет ни на одной карте Лондона, стоит лавка «Лисатрум». Здесь продают не вещи — здесь продают двери: за каждой мир, где сбылось то, о чём попросил клиент. Плата — вперёд. Дверь даёт ровно то, что просили. А тот, кто войдёт второй раз, платит остатком души.

Помощник лавки, Феяс Ливрейз, выглядит на шестнадцать — и шестнадцать ему уже очень давно. Он не помнит своего первого дня, не знает, чем за себя заплачено, и никогда не открывает собственную дверь. Он только провожает чужих — и записывает.

Но однажды в лавку входит молодой учитель Ливес Верн Лингс — первый человек, который заинтересовался не дверями, а самим Феясом. И лавка, умеющая ждать, начинает — очень медленно — отвечать.

Мрачная сказка для взрослых в духе Гильермо дель Торо — о цене желаний, о тех, кто просит не для себя, и о мальчике, который дежурит у чужих дверей, пока его собственная ждёт, когда он будет готов.

Глава 1. Колокольчик, который звонит не для всех

1

Туман приходил в этот город не с реки, как полагали люди, а из-под земли. Он сочился сквозь щели между мостовыми, выдохом старых труб, забытых колодцев и погребов, где ещё стояли бочки времён, которых никто уже не помнил. Он полз вверх по стенам, облизывал газовые фонари, и огонь в их стеклянных утробах желтел, как старое сало, как воск, налитый вокруг фитиля чужой жизни. Лондон в тот год пах сажей и мокрой шерстью, лекарственным дымом и дешёвым табаком, и только в одном месте города запах был иной — пыльный, сладковатый, чуть миндальный, будто где-то далеко под полом грелась лампа с янтарным маслом.

Место это не значилось ни на одной карте.

Тупик Чёрного Фонаря находили только те, кто уже не мог не найти его. Остальные проходили мимо десятки лет, спеша к омнибусу, к конторе, к похоронам чужих надежд, и видели между зубным врачом и лавкой подержанного платья лишь кирпичную стену да пожарную лестницу, похожую на ржавые ноты несыгранной песни. Стена была честной. Она

стояла там исправно, с осыпавшейся штукатуркой, с афишей трёхлетней давности о продаже чаю, и никому не приходило в голову, что честная стена — редчайшая разновидность двери.

Но вечером, когда туман густел настолько, что в нём можно было уткнуться лицом, как в подушку, стена отодвигалась. Не в буквальном смысле — кирпич оставался кирпичом, холодным и песчаным на ощупь, — но глаз, который уже не надеялся, начинал различать узкую щель улицы, уходящую вглубь, под ломаный угол, куда не дотягивал ни один фонарь. Там, в конце, мерцал огонёк. Восковой, жёлтый, терпеливый. Огонёк лавки.

ЛИСАТРУМ — гласила вывеска, и буквы её были выложены из старых медных литер, вынутых, судя по всему, из разных алфавитов и разных эпох, так что каждая буква слегка отличалась от соседней, как зубы у старика. Вывеска висела криво, на одном крюке, и не скрипела на ветру, хотя должна была. Ветра в тупике не бывало. Воздух здесь стоял, как вода в запёртом колодце, и имел вкус.



Лисатрум в тумане

Под вывеской тускло темнело окно, за стеклом которого лежало то, что в других лавках зовут товаром, а здесь было скорее остатками чужих биографий: перегоревшая лупа в роговой оправе, веер из перьев птицы, которой не знал ни один орнитолог, бюрошка с золотым пером, застрявшим внутри часового механизма, кукла без лица в кружевном платье, три тома в переплётах цвета запёкшейся крови и один — в переплёте цвета ночи, глубокого синего, почти чёрного, на корешке которого не было ни имени, ни названия. Вещи лежали неподвижно, но у прохожих — у тех немногих, кто видел тупик, — возникало странное ощущение, что

не они разглядывают витрину, а витрина разглядывает их, неторопливо и без сочувствия, как разглядывают страницу перед тем, как её перевернуть.

Над низкой дверью, выкрашенной в цвет старой слоновой кости, на кожаном ремешке висел колокольчик. Медный, небольшой, с трещиной, залитой изнутри чем-то тёмным. Когда дверь отворялась, колокольчик — иногда — звенел.

Не для всех.

Феяс Ливрейз знал: колокольчик решает сам. Для почтальона, который однажды по ошибке толкнул эту дверь в исчезающе редкий день, когда тупик был виден многим, колокольчик промолчал, и почтальон не вошёл — постоял, поморгал, пробормотал, что обознался, и ушёл, и никогда потом не смог объяснить, куда шёл и зачем. Для женщины, что пришла в октябре с письмом мёртвой сестры в кармане, колокольчик прозвенел тонко и жалобно, как прозрачная нить, натянутая между двумя мирами. Для банковского клерка, которому предстояло прийти сегодня, колокольчик уже готовил свой звук — Феяс чувствовал это по тому, как тот потяжелел на ремешке, как чуть повернулся на сквозняке, которого не было.

Колокольчик всегда знал заранее. Лавка любила, когда её ждали.

Внутри Лисатрум был больше, чем снаружи, — об этом не говорили вслух, потому что здесь это было так же естественно, как то, что свеча горит, а тень молчит. От двери до стойки вёл проход между двумя рядами стеллажей, и проход этот пах бумагой, машинным маслом, воском и той особенной сладостью, какую имеют старые вещи, долго лежавшие в тепле чужих рук. Пол под ногами отзывался глухо, с запаздыванием, словно доски обдумывали каждый шаг, прежде чем согласиться его принять. Потолок терялся в вышине, где висели паутины давно умерших пауков, похожие на выцветшие кружевные воротники.

Книг здесь было много, но книги были не главным. Вдоль левой стены стояли вещи: клетка с механической птицей, которая пела, только когда в лавке кто-то лгал; подзорная труба, сквозь которую, если верить выцветшей бирке, «видны моря, не имеющие берегов»; шахматная доска с фигурами из слоновой кости и тёмного дерева, на которой лежала недоигранная партия — лежала уже столько лет, что пыль на чёрном короле успела стать похожей на седину. Семь раз в год, в ночи, о которых старик говорил «в ночи, когда меняется счёт», фигуры передвигались сами — на один ход, не больше. Феяс однажды спросил, кто играет. Старик ответил не сразу: сначала он долго смотрел на доску сквозь свои очки

в железной оправе, потом снял их, протёр полый жилета и сказал: «Белые играют плохо. Всегда играли плохо. Я болею за белых». Больше он к этому разговору не возвращался.

Стойка стояла в глубине зала, у арки, за которой началась библиотека, — высокая, из морёного дуба, отполированная локтями нескольких поколений так, что дерево пошло волнами, как отвердевшая вода. На стойке лежала конторская книга в холщовом переплёте, чернильница с чернилами цвета грозового неба и медная визитница, всегда пустая. Позади стойки, на табурете с витыми ножками, сидел Феяс.

Трудно было сказать, что в нём замечали первым делом. Может быть, волосы — пепельные, почти седые, мягкие и непослушные, словно у юноши, которого очень давно оставили на снегу и он так и не отогрелся. Может быть, глаза — серые, миндалевидные, с тем спокойным, ровным равнодушием, какое бывает у витринного стекла или у рыбы, лежащей на льду; взгляд, в котором люди искали хоть что-нибудь — интерес, жалость, любопытство, — и не находили ничего, кроме собственного отражения, маленького и неважного. А может быть — костюм: тёмный, строгий, без единой лишней складки, с высоким белым воротничком, подчёркивающим бледность лица, — костюм, в каком принято провожать, а не встречать. Клиенты, переступая порог, невольно понижали голос, как понижают голос в храме или у гроба, и сами не понимали почему.

Феяс выглядел лет на шестнадцать. Столько ему было, когда он понял, что перестал считать.

Он сидел за стойкой прямо, тонкие пальцы лежали на конторской книге, хотя он не писал уже несколько часов. Перед ним, в лужице янтарного света от настольной лампы с зелёным абажуром, догорала свеча в жестяном подсвечнике — старик не любил лампу, говорил, что электричество «не имеет терпения», — и пламя её отражалось в серых глазах мальчика двумя маленькими неподвижными точками, как отражение отражается в неподвижной воде: точно, бесполезно и без всякой радости.

Он ждал. Ждать было его работой, и он выполнял её с той совершенной неподвижностью, какую даёт не усилие, а привычка, старая, как камни под фундаментом. Возможно, он умел ждать ещё до того, как пришёл сюда. Он не помнил.

Он вообще мало что помнил о «до того».

Иногда — редко, по ночам, когда лавка дышала иначе и стеллажи поскрипывали, переговариваясь между собой на языке дерева, — до него доносилось что-то вроде памяти: запах мокрой листвы, звук далёкого колокола, ощущение ткани на плечах — грубой, чужой, пахнувшей дымом. Но это были не воспоминания, а их тени, силуэты вещей, сгоревших так давно, что от них осталась только форма отсутствия. Пытаясь поймать их, Феяс чувствовал то, что, вероятно, чувствует человек, слепнувший от снега: белизну, в которой ничего нет, и холод, который уже не обжигает, потому что стал

внутренним.

Тогда он брал конторскую книгу и перечитывал записи. Имена, даты, желания, плата. Строчки, выведенные его собственным почерком — ровным, старомодным, с длинными хвостами у заглавных букв, почерком человека, которого учили писать пером, а не ручкой. Почерк был его единственным документом, единственным доказательством, что Феяс Ливрейз вообще существует. Он перечитывал записи, как иные перечитывают письма от родных, и, дочитав до пустой страницы — всегда одной и той же, всегда следующей за последним именем, — аккуратно закрывал книгу.

Пустая страница ждала. Лавка любила, когда её ждали. Книга была старая. Старше Феяса — это он знал точно, потому что в начале её, на первых, пожелтевших и похрустывающих, как сухая листва, страницах, записи были сделаны не его рукой. Чужой почерк — и вот что было в нём странного: похожий. Не тот же самый, нет; Феяс разглядывал эти страницы слишком часто, чтобы обманываться. Но похожий — как похожи голоса родных, как похожи два ключа от одного замка, сделанные в разные годы: тот же ровный наклон, те же длинные хвосты у заглавных букв, та же привычка ставить точку чуть выше строки, будто писавший всякий раз в последний миг удерживал перо, не давая ему сказать лишнего. Имена там были ему неведомы, даты — без лет, одни числа и месяцы, и желания чужие, давние: «вернуть голос», «чтобы не болело», «чтобы меня не нашли до рассвета», «чтобы ре-

ка отдала». Плата принята. Плата принята. Плата принята.

Феяс спросил об этом старика однажды — один только раз, вечером, когда в лавке было тихо особенно, тем тяжёлым, восковым тихом, в котором правда стоит дешевле обычного.

— Кто писал в начале книги?

Старик тогда долго молчал. Он сидел над своей жестяной коробкой с мелкими шестерёнками, и пальцы его, всегда живые, лежали неподвижно, и Феяс уже приготовился к тому, что ответа не будет, — но старик ответил, не поднимая глаз:

— Прежний помощник.

— А где он?

— Там же, где все, — сказал старик. И пальцы его снова зашевелились, и шестерёнки тихо, по-мелкому задрезбезжали, и этим дребезжанием разговор был закрыт, как закрывают крышку. — Не листай на ночь. Книга это не любит.

Феяс не листал на ночь. Но по утрам, в сером, договорённом со стеклом свете, он иногда открывал книгу на первых страницах и смотрел на похожий почерк, и думал без слов, думал погодой: вот доказательство, что до него здесь кто-то стоял; вот доказательство, что отсюда уходят, — куда-то уходят, раз книгу вёл другой; и вот, стало быть, карта: был — стоял — ушёл. Три точки. Осталось понять, что за линия их соединяет. — И он закрывал книгу, потому что колокольчик над дверью всякий раз в такие минуты начинал чуть-чуть покачиваться, словно слушал, и Феяс не хотел, чтобы

он слушал.



3

Утро в Лисатруме не наступало — оно договаривалось. Свет просачивался сквозь витрину неохотно, по капле, серый и плоский, как вода, в которой мыли кисти, и Феяс, открывая глаза на своём узком ложе за библиотекой, — ложе это было скорее нишей между стеллажами, застеленной чужими пальто, которые давно перестали пахнуть людьми, — каждый раз видел одно и то же: пыль, медленно оседающую в первом луче, золотую, тяжёлую, неторопливую, словно не пыль это оседала, а само время, накрапанное за ночь. Он поднимался, складывал пальто стопкой, точёной, как бумага в переплёте, умывался из медного таза водой, всегда одинаково холодной, откуда бы он её ни брал, надевал свой тёмный костюм — единственный, но всегда чистый, всегда отглаженный, словно лавка сама следила, чтобы её помощник выглядел как положено, — застёгивал высокий белый воротничок и выходил в зал.

Зал встречал его тишиной, в которой, если постоять неподвижно, начинали различаться голоса вещей. Не слова — нет, вещи не говорили, — а состояния: клетка механической птицы тихонько поскрипывала, остывая за ночь; подозрная труба на левой стене потела изнутри, как потеет стекло очков у вошедшего с мороза; недоигранная шахматная партия лежала под своим слоем пыли с достоинством спящей; и где-

то далеко, в глубине библиотеки, перешёптывались страницы — книги в Лисатруме шевелили листами по ночам, перегоняя туда-сюда запахи, и поутру от них исходил тот самый аромат сухой листвы и мышьячной зелени старых переплётов, каким пахнут закрытые театры.

Феяс начинал обход. Это не было записано ни в каком договоре — не было никакого договора, не было найма, не было первого дня, — но обход существовал, как существует прилив: потому что иначе нельзя. Он поднимал тяжёлую щётку из спины пса — так говорил старик: «щётка из спины пса, а какого пса — не спрашивай, всё равно совру», — и сметал пыль со стойки, и пыль не летела, как летит пыль в любом доме, а ложилась к его ногам послушной серой каймой, как будто знала, кто здесь метёт, и не спорила. Он проверял чернильницу — чернила цвета грозового неба не кончались никогда, и это было единственное в лавке, что не кончалось никогда, — промокал перо, открывал конторскую книгу на вчерашней странице и перечитывал последнюю запись, всегда одним и тем же ровным, старомодным почерком: имя, желание, плата. «Эзекииль Пламб» ещё не значился в книге. Страница ждала.

Старик появлялся, когда чайник — медный, зелёный от времени, с носиком, загнутым, как палец рассказчика, — начинал свой утренний пересвист. Он спускался откуда-то сверху, откуда доносились по ночам звуки, которые Феяс давно научился не слышать: звяканье стекла, короткий пере-

звон, похожий на смех, а однажды — очень давно, в первый год, который Феяс не умел отличить от десятого, — долгое, вполголоса, чтение вслух на языке, где гласные стояли не на своих местах. Старик входил в зал всегда одним и тем же жестом — сначала лампа, потом очки, потом он сам, — здоровался не с Феясом, а с лавкой: «Доброе утро, старуха, что тебе снилось?» — и лавка отвечала ему скрипом половиц, и старик кивал, как кивают докладу, и шёл заваривать чай в жестяном чайнике с отбитой эмалью.

В то утро — в утро дня, которому предстояло стать последним днём Эзекииля Пламба, хотя ни лавка, ни старик, ни Феяс не делали из этого никакой тайны: тайн здесь не было, была только очерёдность страниц, — старик был деятелен сверх обычного. Он переставлял вещи на левой стене, бормоча; он взял куклу без лица из витрины, долго держал её на ладони, потом поставил обратно, но другим боком к стеклу; он трижды прошёл мимо колокольчика, и всякий раз колокольчик чуть поворачивался на кожаном ремешке, как поворачивается голова слушающего.

— Сегодня придут, — сказал старик наконец, не оборачиваясь.

— Кто? — спросил Феяс.

— Тот, кто уже пришёл, — ответил старик, и это было его обычное бессмысленное чудачество, в котором, как Феяс давно научился, смысла было больше, чем в иной проповеди: люди в тупик Чёрного Фонаря входили задолго до того, как

переступали порог, — они входили в него в тот вечер, когда желание становилось сильнее страха, а потом шли ещё недели, месяцы, годы, не зная, что идут. — Встанет у витрины, постоит, посомневается. Потрогает стекло. А потом зайдёт. Колокольчик уже отпевает ему.

— Ты видел? — спросил Феяс.

— Я слышал, — сказал старик и постучал ногтем по своему виску, где под кожей, под седыми иглами волос, под старостью и чудачеством жило то, что Феяс называл про себя «вторым стариком» — тот, который знал. — Он считает, мальчик мой. Считает с трёх недель, с того самого вечера, как увидел брошь. Люди, которые считают, звучат иначе, чем люди, которые молятся. Молитва — она растянутая, как мёд. А счёт — сухой. Щёлк, щёлк, щёлк. Как счёты. — Он повернулся к Феясу, и очки его блеснули двумя белыми монетками отражённого окна. — Когда придёт — ты примешь его сам. Запишешь. Я только возьму плату.

— Как всегда, — сказал Феяс.

— Как всегда, — согласился старик, и вдруг лицо его дрогнуло — не гримасой, а чем-то глубже, чем-то, что живёт под лицом, как под водой живёт дно. — И всё-таки, мальчик мой, каждый раз я жду. Вдруг этот — другой. Вдруг войдёт и попросит не металл и не мясо. Вдруг попросит назад. Вот когда кто-нибудь войдёт и попросит вернуть то, что отдал сам, — вот тогда, может статься, старуха-лавка и отдохнёт. — Он хмыкнул, повесил полотенце на гвоздь, который дер-

жался в стене уже так давно, что стал частью стены. — Но не сегодня. Сегодня звучит счёт.

Потом была вода.

Раз в несколько дней — Феяс не знал, по какому счёту, может быть, лавка сама решала, — он брал медное ведро и шёл в дальний конец зала, где за занавеской из тяжёлой, выцветшей парчи, похожей на небо в час, когда ни солнца, ни луны уже не различить, стоял кран. Кран был латунный, с маховиком в виде четырёхлистника, и вода из него шла всегда одна и та же: холодная, тяжёлая, с запахом глубокого колодца и чего-то ещё — чего-то такого, что Феяс не мог назвать, но что заставляло его всякий раз, наклонившись над ведром, на мгновение закрыть глаза. Старик говорил, что вода эта «помнит дождь, которого ещё не было», и больше ничего не говорил, а Феяс не спрашивал, потому что давно усвоил: некоторые ответы в лавке обесценивают вопрос, как свет обесценивает фотографическую пластину.

Он мыл пол. Пол это терпел — доски, истёртые в проходах до серебристой мягкости, принимали воду молча, темнели, дышали, отдавали обратно запах столетий, и в этот час лавка была почти доброй, как бывает добр старый пёс во сне. Феяс двигался от стойки к двери, от двери к арке, толкая перед собой мокрую тряпку на палке, и мысли его в эти часы были такими же ровными и серыми, как вода в ведре. Он любил мыть пол. Он не знал этого слова — «любил», оно было слишком тёплое для того, что он чувствовал, — но если бы

его спросили, что в его работе лучше всего, он бы ответил: вот это. Вода. Доски. Ровное движение взад-вперёд. Ничего не решается. Ничего не кончается. Ничего не входит.

В то утро, когда он домывал последний пролёт у самой двери, колокольчик над ней — медный, с трещиной — вдрун качнулся. Не зазвенел: качнулся, только это, на кожаном ремешке, как качается голова сомневающегося. Феяс замер с мокрой тряпкой в руке. За дверью, по ту сторону, в тумане, кто-то стоял — он чувствовал это так, как чувствуют чужое дыхание в тёмной комнате: не ушами, а затылком. Стоял и не входил. Минуту. Две. Потом — Феяс не слышал шагов, но знал — ушёл.

— Не его ещё, — сказал старик за спиной. Он стоял у чайника, с жестяной коробкой в руках, и смотрел не на Феяса, а на дверь, и глаза его за железной оправой были в этот миг совсем не старыми — быстрыми, молодыми, почти жалостливыми. — Не его ещё, старуха. Терпение. У него дочь жива. Пока жива — он человек. — Он повернулся к чайнику и уже обычным голосом, бодрым и чудаковатым, закончил: — А ты пол недомыл. У порога. Всегда у порога недомываешь. Феяс домыл у порога.

День тянулся, как тянутся дни в местах, где время работает не часы, а настроение. Феяс сидел за стойкой. Старик чинил в глубине зала что-то маленькое и латунное, склонившись так низко, что нос его почти касался деталей, и напевал без слов, одну и ту же ноту с перерывами, и нота эта, стран-

ным образом, совпадала с той, что тихо, на самой грани слышимого, держала где-то в библиотеке одна из дверей, — может быть, та самая, цвета старой бронзы, может быть, другая; двери передавали ноту друг другу, как передают свечу.

Один раз — ближе к полудню, если слово «полдень» вообще что-то значило в тупике, где небо никогда не показывалось целиком, — снаружи прошёл человек. Феяс услышал шаги ещё до того, как тень дрогнула за витриной: шаги были размеренные, казённые, с той равномерной усталостью, какая бывает у людей, чья работа — ходить. Тень остановилась против двери. Феяс не поднял головы, но вся лавка — он чувствовал это кожей, как чувствуют изменение погоды, — чуть подалась вперёд, прислушалась. За стеклом стоял почтальон: Феяс видел его силуэт, сутулый, с сумкой, и видел, как тот поднял руку и потрогал косяк двери, как трогают лоб у больного, — проверяя, настоящий ли.

Колокольчик молчал. Колокольчик молчал так выразительно, что молчание его было громче звона.

Почтальон постоял. Потом, Феяс знал, он сделает то, что делали все, кому колокольчик не пел: поморгает, посмотрит на свои руки, как будто это они виноваты, обернётся на туман — и уйдёт, и уже через десять шагов забудет, куда заглядывал, а через сто не вспомнит и тупика, и будет потом, изредка, по ночам, видеть сон про лавку, которой нет, и просыпаться с необъяснимым спокойствием человека, которого пронесло мимо.

Так и вышло. Тень дрогнула, отлипла от витрины, растворилась в тумане. Старик в глубине зала, не переставая напевать, сказал:

— Хороший человек. Невкусный.

И Феяс, не спросив, что это значит, — он давно перестал спрашивать, что значат такие слова, — вернулся к конторской книге. Перед ним лежала пустая страница, и он смотрел на неё, и думал — не словами, а тем медленным движением внутри, которое у других людей называется мыслью, а у него было просто погодой, — что вот сейчас, в эти самые часы, человек с аккуратными ногтями, где-то в двух милях отсюда, за канцелярской стойкой, переписывает чужие суммы в последний раз, и не знает этого, и если бы знал — всё равно пришёл бы. Они всегда приходят. В этом, наверное, и состояла его работа, подумал Феяс: не в том, чтобы продавать, и не в том, чтобы предупреждать, — а в том, чтобы стоять за стойкой и быть тем, кто уже здесь, когда они наконец дойдут.

К вечеру туман сгустился до плотности простыни. Старик зажёл лампы — все, кроме одной, над аркой; та ждала, — и сказал, зевая, что пойдёт проверит, «не раскисли ли часы», хотя часов в лавке, которые можно было бы раскиснуть, Феяс не знал. Уходя, старик задержался у стойки и положил ладонь — сухую, тёплую, в пятнах, похожих на прожилки янтаря, — на край конторской книги. Просто положил и убрал. Жест этот ничего не значил, и Феяс знал: старик делал его всякий раз, когда вечеру предстояло стать событием, — как

иные люди, выходя, прикасаются к косяку.

А потом лавка стихла, свеча на стойке оплавилась на треть, и колокольчик — прозвенел.

Колокольчик прозвенел, когда свеча на стойке оплавилась на треть.

Звук был короткий и густой, с ворчанием, — так, по опыту Феяса, колокольчик встречал людей корыстных: приветствовал их, но без уважения, как здороваются с должником. Дверь пропустила внутрь клочок тумана и человека, и туман тотчас осел на пол, пристыженный, а человек остался стоять на пороге, прижимая к груди потёртый саквояж, словно щит.

Банковский клерк. Феяс понял это раньше, чем тот успел открыть рот: по ногтям, безукоризненно чистым и аккуратным до жестокости; по воротничку, застёгнутому слишком туго, будто человек всю жизнь стремился удавить сам себя, но цивилизованно; по тому, как его глаза, обежав зал, задержались на вещах не с удивлением, а с оценкой. Люди, считающие деньги, входили в Лисатрум чаще других — и реже других выходили довольными. Дверь давала ровно то, что просили, а с людьми, считающими деньги, шутки выходили особенно точными, потому что точность была единственным языком, который они понимали.

— Добрый вечер, — сказал Феяс. Голос у него был ровный, чуть холодный, вежливый, как у метрдотеля в дорогом ресторане, где вам не рады. — Вы хотели что-то найти?

Клерк вздрогнул — не от голоса, а от того, что мальчик

за стойкой оказался на своём месте так естественно, словно был частью мебели, и отделить его от стойки, от книги, от свечи было уже невозможно, как невозможно отделить письменный прибор от стола, за которым подписывают приговоры.

— Мне сказали... — начал клерк и замолчал. В лавке пахло воском и пылью, и запах этот почему-то напомнил ему канцелярию, в которой он провёл двадцать три года, — и вместе с тем напомнил что-то совсем другое, давнее, из детства, чего он не мог назвать и от чего у него неприятно сжалось горло. — Мне сказали, что здесь... покупают. И продают.

— Здесь продают, — согласился Феяс. — А что вы хотели купить?

Клерк не ответил сразу. Он сделал то, что делал почти каждый вошедший: медленно, с опаской человека, идущего по чужому сну, двинулся вдоль левой стены, вдоль вещей. Феяс не мешал. Он сидел неподвижно, следя за клиентом глазами — только глазами, без малейшего поворота головы, — и отмечал, как отмечал всегда, профессионально и без интереса, к чему протянется рука.

Рука Эзекииля Пламба протянулась к подозрной трубе — к самой дорогой с виду вещи на стене, — но не коснулась: в последний момент пальцы его отдёргнулись сами, потому что окуляр трубы, тёмный, глубокий, со стеклом цвета грозового неба, смотрел на человека с той непреклонной готов-

ностью, с какой смотрит дуло. Пламб отшатнулся и наткнулся плечом на клетку с механической птицей. Птица не шелохнулась — она спала или притворялась, — но Пламб всё равно отошёл от неё дальше, чем было нужно, и Феяс, глядя на это, подумал, что человек этот, вероятно, не лжёт чаще, чем лжут клерки, то есть помногу и по мелочи, и что птица в его присутствии будет молчать, потому что пела она только на большую, настоящую ложь, на ложь цельную, как хлеб, — а мелкая, канцелярская, рассыпчатая ложь не стоила её голоса.

— Что это за место? — спросил Пламб. Он стоял теперь перед шахматной доской и смотрел на недоигранную партию, на чёрного короля в пыли, похожей на седину.

— Лавка, — сказал Феяс.

— Это не лавка, — Пламб обернулся, и в глазах его мелькнуло то, что мелькало у всех: не страх ещё, а его приближение, как ветер перед грозой. — Я работал в банке двадцать три года. Я знаю, как выглядят места, где... где делают дела. Это — не лавка. Это... — Он не нашёл слова и махнул рукой, и жест этот, беспомощный, почти детский, был первым человеческим, что он сделал за вечер.

— Это лавка, — повторил Феяс ровно, без нажима, как повторяют очевидное. — Книги и старое барахло. Написано на вывеске.

— А партия? — Пламб кивнул на доску. — Кто играет?

— Партию играют долго, — сказал Феяс.

— Сколько?

— Долго.

Пламб смотрел на него, и Феяс позволил ему смотреть. Он знал, что клиент видит: мальчика лет шестнадцати, пепельного, в костюме, в каком хоронят, с глазами, в которых ничего нет, — и знал, что клиент думает то, что думали все: «он не понимает, где работает». Это было удобно. Это было даже, в известном смысле, правдой: Феяс не понимал, где работает, — он просто знал, как она устроена, а это разные вещи, как разны карта и дорога.

— Послушай, мальчик, — Пламб понизил голос, хотя в лавке, кроме них и спящей птицы, никого не было, — скажи мне честно: здесь правда... то есть это правда, что здесь можно... — Он снова не досказал. Они никогда не досказывали, словно произнесённое до конца желание становилось слишком тяжёлым, чтобы его нести.

— Здесь правда можно, — сказал Феяс. — А вот нужно ли — это вы решаете до того, как войти. Вы уже вошли.

И Пламб, услышав это, вдруг замер, и лицо его пошло медленными тенями, как идёт тенями вода под облаками, — потому что слова эти, простые и ровные, были правдой такого сорта, какую не говорят в банках, и в приютах, и у постели больных, — правдой без утешения: он уже вошёл. Он вошёл три недели назад, у витрины на Риджент-стрит, глядя на брошь ценой в шесть его жизней; сегодня он только дошагал до порога.

Клерк подошёл ближе. Звали его Эзекииль Пламб, и было ему сорок девять лет, из которых сорок он прожил так, будто готовился к жизни, — откладывал, умерял, ждал. У него была жена, которая перестала с ним разговаривать без необходимости, и дочь, которая вышла замуж за человека с деньгами и с тех пор смотрела на отца с той особенной вежливой жалостью, какая хуже презрения. У него были аккуратные ногти и тугой воротничок и двадцать три года канцелярии, где он переписывал чужие суммы и где цифры были добры к нему ровно настолько, насколько бывают добры цифры, — то есть никак. А три недели назад он стоял у витрины ювелирного магазина на Риджент-стрит, и жена дочкиного мужа — он даже не знал, как её зовут, — купила брошь, которая стоила как шесть его годовых жалований, и она купила её между прочим, походя, как покупают хлеб. И Эзекииль Пламб стоял и смотрел сквозь стекло, и стекло было холодным, а лицо его в стекле было серым, и он подумал то, что думают тысячи людей каждый вечер во всех городах мира, но подумал с той силой, с какой думают редко, — и тупик Чёрного Фонаря услышал его за две мили, и открылся, и терпеливо ждал три недели, пока он соберётся с духом.

— Мне сказали, — повторил Пламб и поставил саквояж на стойку. Руки у него дрожали, но голос он старался держать деловой, как будто здесь, среди клеток с механическими птицами и книг без названий, можно было сохранить деловой голос. — Мне сказали, что здесь исполняют... что здесь мож-

но получить то, чего больше нигде не получишь.

— Кто вам сказал? — спросил Феяс без всякого интереса, из одной вежливости, потому что ответа не существовало: люди, сказавшие об этом, никогда не могли вспомнить, откуда знают.

Пламб и не ответил. Он открыл саквояж, достал оттуда картонную папку, развязал тесёмки — пальцы его были белыми и тонкими, как черви, — и вынул листок бумаги, исписанный мелким, красивым, банковским почерком. Там было составлено прошение. С обоснованиями. С пунктами.

— Я всё записал, — сказал он с гордостью человека, который пришёл на сделку с нечистой подготовленным. — Чтобы не было недоразумений.

Феяс взял листок. Бумага была тёплой от саквояжа и пахла железом — дешёвые чернила, казённая канцелярия. Он прочёл прошение от начала до конца, не торопясь, и лицо его при этом оставалось таким, какое бывает у часовщика, рассматривающего чужие часы: аккуратное, глухое, профессиональное. Только когда он дочитал, в серых глазах мелькнуло что-то — не интерес, не сочувствие, а то самое выражение, из-за которого клиенты потом, вспоминая, не могли уснуть: отстранённое, чуть презрительное понимание, как у человека, который видел это уже много раз и знает, чем кончится.

— «Золото, которое не кончается», — прочёл Феяс вслух последнюю строчку. Он поднял взгляд. — Вы уверены, что хотите именно это? Именно так?

— А что? — Пламб насторожился с тем особенным чутьём канцелярской крысы, какое вырабатывается за двадцать три года переписывания чужих ошибок. — Что-то не так с формулировкой?

— С формулировкой всё в порядке, — сказал Феяс. — Формулировка отличная.

Он сложил листок вдвое и аккуратно, уголок к уголку, положил его в ящик стойки. Потом открыл конторскую книгу на пустой странице — на той самой — и взял перо.

— Плата заранее, — сказал он. — Таковы правила.

— Сколько? — Пламб уже тянулся к внутреннему карману, где лежал бумажник, плоский, как его жизнь.

— Не деньгами.

И тут из глубины библиотеки, из-за арки, за которой темнели ряды стеллажей, уходящие в невозможную даль, раздался шорох, шарканье и покашливание, и в зал, держа в руке керосиновую лампу со стеклом, закопчённым с одного боку, вышел старик.

Старик был маленький и сутулый, в жилете, на котором насчитывалось девять карманов — Феяс знал это точно, потому что однажды, давно, в бессонную ночь, пересчитал, — и в очках с железной оправой, сидевших на носу криво, как ворона на телеграфном проводе. Волосы его торчали седыми иглами, словно он только что выпростал голову из подушки, а может быть, из бутылки с корабликом. Лампу он нёс осторожно, обеими руками, и свет её шёл от него, как вода от источника, неторопливо заливая зал до колен тёплой янтарной дрожью.

— Что? — сказал старик, ещё не глядя на клиента. Он всегда спрашивал «что?», даже когда слышал всё отлично, — и Феяс давно понял, что вопрос этот адресован не собеседнику, а лавке: мол, что за гость, что за ночь, что за желание. — А. Клерк.

— Эзекииль Пламб, — с достоинством представился клерк и тут же пожалел об этом, потому что старик произнёс «клерк» так, как произносят название болезни.

— Пламб, — повторил старик и хмыкнул, и хмыканье это могло значить что угодно: и что имя понравилось, и что имя рассмешило, и что старик вспомнил что-то о свинце. Он поставил лампу на стойку, подвинул очки на лоб и посмотрел на Пламба поверх стёкол — долго, внимательно, с тем при-

шуром, с каким оценщики смотрят на вещь, принесённую в заклад. Пламбу стало не по себе: ему вдруг показалось, что старик видит не его лицо, а его годы — все сорок девять, разложенные, как колода карт, и тасовать их уже не получится.

— Значит, золото, — сказал старик наконец. — Золото, которое не кончается. Хорошая формулировка. Честная. — Он обошёл стойку, и Пламб невольно попятился, хотя старик был вдвое меньше него ростом и втрое старше. — Вы знаете, почему я люблю канцеляристов, мистер Пламб? Они никогда не просят счастья. Счастье — размытая категория, а размытого в лавке не любят. Они просят золото. Которое не кончается. Восхитительная точность. — Он остановился и посмотрел Пламбу прямо в лицо. — Жаль только, что точность никогда никого не спасала. Наоборот.

— Я не понимаю, — сказал Пламб.

— И не надо, — добродушно отозвался старик. — Понимание здесь не продают. Здесь продают исполнение. — Он повернулся к Феясу, и голос его стал деловым, почти бодрым. — Мальчик мой, подготовь пузырьрёк. Третий шкаф, янтарный, не гранёный. И салфетку — тканую, не ту, что с кистями, та с кистями для особых случаев.

Феяс поднялся. Двигался он бесшумно и плавно, без малейшей спешки, и Пламб, глядя на него, подумал вдруг — и сам удивился этой мысли, — что мальчик двигается так, как двигаются вещи, которым некуда торопиться, потому что они уже сто лет на своём месте и будут стоять ещё сто.

Пока Феяс ходил в глубину за пузырьком — а ходил он неторопливо, потому что неторопливость была частью обряда, как неторопливость священника есть часть службы, — старик и Пламб остались одни, и старик сделал то, чего не делал при помощнике никогда: он подошёл к Пламбу вплотную, взял его за пуговицу пиджака — двумя пальцами, как берут за край чужой рукава, — и сказал тихо, без всякой своей обычной скоморошьей бодрости:

— Послушай меня, Эзекииль. Вот сейчас, пока мальчик не вернулся, у тебя есть последний случай уйти. Не из лавки — из лавки уйти можно всегда, пока не заплатил; дверь честная. А из желания. Откажись. Скажи: передумал. Скажи: ошибся. Мы вернём тебе вечер, туман, твою улицу, твой тихий дом, твою жену, которая не разговаривает с тобой без необходимости, — и, знаешь, Эзекииль, необходимость рано или поздно наступает, так что даже это не потеряно. Откажись. Ты не будешь первым, кто отказался. Двоих я отпустил сам, оба живы, оба счастливее, чем были, — один, правда, теперь пьёт, но пьёт от полноты, это разные вещи. Ну?

Пламб смотрел на старика сверху вниз — старик был маленький, сутулый, с иглами седых волос, и держал его за пуговицу, и Пламбу вдруг почудилось, что это не старик держит его за пуговицу, а пуговица держит его в этом мире, в этом вечере, в этой ещё возможной жизни, — последний крючок, последняя планка, последняя черта, за которой уже не канцелярия, а хранилище. Он стоял так секунду, две, — и

Феяс, уже возвращавшийся по проходу с янтарным пузырьком и салфеткой, услышал из зала то, что слышал сотни раз и что было ему привычнее собственного дыхания: тишину человека, взвешивающего, — и глухой, сухой щелчок: так весы внутри человека говорят «нет».

— Вы всё ещё хотите золото, которое не кончается? — спросил старик, отпуская пуговицу, и Феяс, войдя в зал, увидел, что старик стоит уже в стороне, посреди своей янтарной лужицы света, и смотрит на клиента не с надеждой — надежды в его глазах не было, она у него выгорела раньше, чем у иных выгорает молодость, — а с той ровной готовностью, с какой ждут поезд, который всё равно придёт.

— Что за пузырёк? — спросил Пламб, и голос его стал тоньше.

— Тара, — ответил старик. Он уже закатал рукава — руки у него были старые, узловатые, с пятнами, похожими на прожилки в янтаре, но пальцы двигались уверенно, как у резчика по кости. — Для платы. Плата у нас заранее, мистер Пламб, это первое правило, и оно не обсуждается, как не обсуждается то, что зима холодна. Деньги нас не интересуют — деньги вы и так получите, в своём роде. — Он усмехнулся, и усмешка была не злая, а усталая, как у актёра, который знает пьесу наизусть и всё равно играет. — Мы берём другим. Мы берём частью души.

Пламб открыл рот. Закрыл. В зале было тихо, только где-то глубоко в стеллажах, на недостигаемой высоте, что-то ти-

хонько щёлкнуло, словно кто-то поставил точку.

— Это... больно? — спросил он наконец, и вопрос этот был первым честным вопросом за весь вечер.

— Нет, — сказал старик. — Больно бывает потом. Когда её не хватает. — Он вдруг понизил голос, и лицо его на мгновение стало почти серьёзным, почти печальным. — Я обязан вам сказать, мистер Пламб, и я говорю это каждому: часть души не возвращается. Никогда. Вы будете жить — многие живут, и долго, и неплохо, — но что-то внутри вас отныне будет пустым, как комната, из которой вынесли пианино. Вы не заметите этого сразу. Может быть, не заметите никогда. Но в ночи, когда меняется счёт, вы будете просыпаться и слушать тишину и не будете понимать, чего слушаете. — Он помолчал. — Вы всё ещё хотите золото, которое не кончается?

И Феяс, вернувшийся с янтарным пузырьком и тканой салфеткой, уже знал ответ. Он всегда знал ответ. Люди, дошедшие до тупика Чёрного Фонаря, не поворачивали назад — не потому, что были смелы, а потому, что дорога назад давно сгорела, и они пришли сюда по её пеплу.

— Да, — сказал Эзекииль Пламб.

То, что случилось дальше, Феяс видел много раз, и всё же каждый раз он смотрел — не из интереса, а потому, что это было его работой: смотреть, записывать, помнить. Лавка не вела иных архивов, кроме него.

Старик велел Пламбу сесть на табурет — на тот самый, с витыми ножками, — и снять пиджак. Потом он встал перед ним, сложил ладони ковшом, как складывают руки, чтобы зачерпнуть воды из родника, и закрыл глаза. Зал изменился. Феяс не мог бы сказать как — свет не дрогнул, тени не шевельнулись, — но воздух стал другим: плотным, внимательным, как воздух в комнате, где кто-то умирает и все стараются дышать тише. Механическая птица в клетке на левой стене повернула голову. Где-то в глубине библиотеки, в невозможной её дали, тихо, на полтона ниже слышимого, запела одна из дверей — та самая, которой предстояло сегодня открыться.

Старик выдохнул — и между его ладоней появился свет. Он не вспыхнул и не возник резко: он выпотел, как выпотевают влага сквозь камень, как проступает письмо, написанное симпатическими чернилами, если лист поднести к огню. Сначала это была просто светимость, дрожащая, восково-жёлтая, и в ней уже угадывалась форма — круглая, неровная, живая. Потом светимость начала обрастать дымом: се-

рым, тонким, идущим не снаружи, а изнутри, словно сам свет тлел. Дым клубился, тянулся нитями, и нити эти были похожи на волокна чего-то большего, что старик, не разжимая ладоней, медленно, с напряжением человека, тянущего корень из земли, извлекал из груди сидящего перед ним человека.

Пламб не кричал. Он сидел с открытыми глазами и смотрел, как из него выходит что-то, похожее одновременно на светлячка, на каплю смолы и на маленькое облако, внутри которого кипит закат. Лицо его было спокойным — тем глубоким, ошеломлённым спокойствием, какое бывает у людей, когда с ними происходит то, во что они никогда не верили, — и только пальцы его вцепились в колени так, что побелели аккуратные ногти.

Внутри дыма, пока старик тянул, а Пламб сидел, разинув рот, Феяс видел то, что видел всякий раз и о чём не было записано ни в одной конторской книге: сфера показывала хозяина. В клубах её, в этой серой, тонкой, тёплой вязи, мелькало — не картинками, нет, скорее запахами и температурой, но Феяс давно научился читать и это: вот промелькнула столовая с керосинкой и двумя приборами, где третий прибор так и остался в буфете; вот — парикмахерское зеркало, в котором человек с аккуратными ногтями впервые увидел у себя седину и не сказал никому; вот — окно канцелярии в декабре, и на стекле, в изморози, чей-то палец вывел цифру и стёр; вот — длинный коридор с линолеумом, по которо-

му несутся, удаляясь, детские шаги, и женский голос говорит что-то ласковое не ему, Пламбу, а вслед; вот — витрина на Риджент-стрит и брошь ценой в шесть жизней, и в стекле витрины, поверх броши, серое лицо сорокадевятилетнего человека, который подсчитал наконец, во что обошлась ему собственная жизнь, и не нашёл в итоге ничего, кроме точной, безупречной, банковской пустоты. Всё это мелькнуло в дыму за то время, что старик тянул сферу из груди клиента, — мелькнуло и собралось в комок, в тёплый, восковой комок, и Феяс подумал то, что думал каждый раз: как мало весит то, что люди зовут душой, и как много в нём помещается; и что лавка, забирая по трети, по куску, по части, забирает, быть может, не худшее и не лучшее, а просто — середину, мякоть, то самое, чем человек ещё мог бы, если бы захотел, стать другим.

— Не дыши на неё, — сказал старик негромко, и Феяс понял, что это уже не Пламбу, а ему. Он подставил янтарный пузырёк — маленький, на два пальца, с притёртой пробкой, — и старик, разведя ладони на ширину ладони, переложил светящийся, дымящийся комочек в стекло. Сфера легла на дно пузырька, покаталась, сжалась, уплотнилась — и стала похожа на шарик из дымчатого стекла, внутри которого, не гася, дрожал восковой, тёплый огонёк. Феяс взял пузырёк двумя пальцами.

Сфера была тёплой. Всегда тёплой — с теплом руки, с теплом подпечного хлеба, с теплом того, что ещё помнит тело.

Он держал их тысячи раз, эти тёплые кусочки чужих душ, и давно перестал удивляться тому, что все они на ощупь одинаковы: у жадных и у щедрых, у жестоких и у кротких. Душа, вынутая наружу, не помнила, чьей она была. Она просто грелась, как греется вода, в которой лежал живой человек.

Феяс зажал пузырьёк в ладони и на мгновение — только на мгновение, так что никто не заметил, — прижал его к груди. Он делал это всегда. Он не знал почему. Может быть, ему нравилось тепло — единственное тепло в этой лавке, которое не приходилось добывать огнём.

— Так, — сказал старик, отирая лоб. Руки у него дрожали, но голос оставался бодрым, хозяйским. — Записывай, мальчик мой. Эзекииль Пламб. Сорок девять лет. Клерк, банк, не спрашивай какой, все они одинаковы. Желание: золото, которое не кончается. Формулировка клиента, дословная. Плата принята заранее, часть души, треть весом, целая. — Он повернулся к Пламбу, который всё ещё сидел, бледный, глядя на свои ладони так, словно искал на них сквозную рану. — А теперь слушайте меня внимательно, мистер Пламб. И запоминайте, потому что повторять я не стану.

Пламб поднял голову.

— За моим помощником — арка, — сказал старик. — За аркой — библиотека. Вы пойдёте по главному проходу, между полками, не сворачивая, пока не упрётесь в дверь. Она одна, ошибиться нельзя: дверь цвета старой бронзы, с ручкой в виде руки. Вы постучите — три раза, медленно, — и дверь

откроется. За ней будет то, что вы просили. Ровно то, что вы просили, — дверь даёт ровно столько, сколько попросили, не больше и не меньше, это второе правило, и оно, поверьте, милосерднее, чем кажется. — Он говорил ровно, по слогам, как диктуют телеграмму. — Вы войдёте и возьмёте своё золото. Всё, какое пожелаете. Оно будет вашим.

— А потом? — спросил Пламб хрипло.

— А потом, — сказал старик, — вы выйдете. Или не выйдете — это уже не входит в стоимость. — Он вдруг шагнул ближе, и глаза его за железной оправой на мгновение стали совсем не безумными, а ясными и страшными, как зимняя вода. — И запомните последнее, мистер Пламб, самое важное: дверь не обманывает. Никогда. Если вам покажется, что она вас обманула, — знайте: она просто поняла вас лучше, чем вы сами. А теперь идите. Дверь не любит ждать, хотя умеет.

Пламб встал. Ноги его слушались плохо, но он шёл — к арке, в библиотеку, в янтарный полумрак, где ряды стеллажей уходили вдаль, как уходит вдаль ущелье. Феяс провожал его взглядом до тех пор, пока фигура в застёгнутом на все пуговицы пиджаке не растворилась между полками, и только тогда заметил, что всё ещё держит пузырёк прижатым к груди.

— Отнеси на полку, — сказал старик уже обычным голосом и зевнул, как человек, закончивший смену. — Третья секция, ряд П. И вернись — свеча догорает, а ночь будет

долгая. Они всегда длинные, когда кто-то входит в дверь.

Библиотека встретила Феяса своим обычным дыханием: пыльным, медленным, чуть сладковатым. Здесь пахло иначе, чем в зале, — гуще, старше; здесь пахло не вещами, а временем, которое вещи пережили. Стеллажи поднимались в темноту выше, чем доставал глаз, и где-то там, в вышине, слышалось едва уловимое движение — не шаги и не скрип, а именно движение, осторожное перетекание тени из полки на полку. Феяс не поднимал головы. Он давно знал, что в верхних ярусах живут те, кого старик называл «незванными гостями»: твари, просочившиеся сквозь щели между мирами и застрявшие здесь, как застревает рыба в трюме тонущего корабля. Они были не опасны — почти никогда, — если не светить им в глаза и не отвечать, когда они окликают. Они окликали голосами знакомых. Феяса окликнуть не могли: у него не было знакомых, и твари, нащупав эту пустоту, отступали, как отступают от стены.

Главный проход библиотеки не был прямым — об этом Феяс не говорил никогда, потому что для этого не существовало слов. Снаружи, если смотреть от арки, он уходил ровно, как уходит ровно аллея; но стоило пройти по нему хотя бы до ряда Г, как начинало казаться — не глазам, нет, глазам он оставался прямым, — а чему-то другому, тому, что в человеке считает шаги, что проход вращается, медленно, неза-

метно, как вращается стрелка, показывающая час, которого нет. Феяс давно перестал сверяться. Он просто шёл, и проход нёс его, как несёт течение, и обратно выносило всегда — вот в чём заключалась честность лавки: она забирала не путь, а только то, что само приходило в руки.

В верхних ярусах, над полками, куда не доставал ни свет, ни лестница, шевельнулось. Феяс не поднял головы — это было первое правило, выученное им самим, не стариком: не смотреть. Незванные гости не любили взглядов; взгляд они принимали за приглашение. Но сегодня та, что шевельнулась, — лёгкая, пыльная, сухая, как осенний лист на сквозняке, — спустилась ниже обычного, до самого яруса, где кончался свет свечи, и Феяс увидел краем глаза: не лицо, нет, у незваных гостей не было лиц, была только привычка занимать место лиц, — увидел, как из темноты между двумя стеллажами протянулось что-то тонкое, длиннопалое, сложенное, как веер, и потянулось к свече. К огню. С тоской, без злобы. Как тянутся к окну, за которым горит чужой очаг.

Феяс остановился. Он не прогнал её — их нельзя было прогнать, как нельзя прогнать сквозняк, — но и не уступил: поднял свечу чуть выше, так, чтобы свет лёг между ним и тварью ровной границей, и сказал тихо, как говорил всегда: — Нельзя. Это чужой вечер.

Тварь послушалась. Веер тонких пальцев сложился, втянулся в темноту, и сверху, из невидимых ярусов, донеслось короткое, виноватое шуршание, похожее на извинение. Феяс

пошёл дальше. Он не гордился тем, что они его слушались; он знал, что слушались они не его, а того, что стояло за ним, глубже, дальше, — того, что твари чуяли в нём, как чуют в камне руду, и чего он сам не чуял никогда. Однажды, давно, он слышал, как две из них перешёптывались в темноте над ним — он не должен был понимать их язык, но в лавке понимание приходило само, как приходит сон. Они называли его каким-то словом — не именем, нет; прозвищем, меткой, тем, чем метят вешки на обледенелой реке, — и тут же замолчали обе, как замолкают, когда поняли, что сказали лишнее. Слово это он не расслышал толком и потом не мог вспомнить, как не вспомнить ноту, прозвучавшую во сне; осталось только ощущение, что слово это — о нём, и что оно старое, и что ему ещё предстоит его услышать.

Он шёл по главному проходу, и под свечой — он зажёт новую, в жестяном подсвечнике с отогнутой ручкой — полки плыли мимо, как руины под водой. Ряд М, ряд Н, ряд О. На корешках и на крышках, на бирках и на холщовых переплётах мерцали в свете свечи осколки чужих биографий: «О. Мальборо, желание исполнено, плата принята», «Н. Нансен, желание исполнено, плата принята», «О. Орридж, желание исполнено, плата принята». Сферы стояли ровными рядами, в янтарных и гранёных пузырьках, в аптекарских бутылочках и в пробирках, и каждая светилась — слабо, еле-еле, как светятся угли под пеплом задолго до рассвета. Если задержаться и прислушаться, можно было услышать, как полка

дышит: тысячи маленьких теплот, тысячи вынутых из людей кусков, и все они грелись в темноте, как спящие птицы греются на жердочке, прижавшись друг к другу.

Феяс поставил пузырьёк Эзекииля Пламба на его место — третья секция, ряд П, между «Питтс, желание исполнено» и «Прайс, желание исполнено». Сфера качнулась, улеглась, и огонёк внутри неё дрогнул и выровнялся, как выравнивается дыхание заснувшего.

— Спи, — сказал Феяс.

Он не знал, зачем сказал это. Он говорил это всем.

А потом, далеко позади, в конце главного прохода, где библиотека упиралась в стену, которой не было на чертежах, глухо и торжественно, как в соборе бьют в часы, отворилась дверь цвета старой бронзы.

Феяс не стал смотреть. Он повернулся и пошёл назад — ровно, неторопливо, со свечой, — и по дороге, уже привычно, почти машинально, отметил, что пламя его свечи не качается, хотя от отворившейся двери по проходу шёл ветер: тёплый, металлический, пахнувший монетами и кровью.

Дверь уже знала, что её просили. Двери всегда знали.

За дверью цвета старой бронзы не было комнаты. Вернее, комната была, но она только притворялась комнатой, как притворяется спящим тот, кто ждёт. Эзекииль Пламб очутился в пространстве, похожем на хранилище банка, — он узнал его сразу, с первого вдоха, по запаху: холодный камень, железо, промасленная бумага, тот самый запах, который двадцать три года был запахом его жизни и который он ненавидел так привычно и основательно, как ненавидят собственное имя. Только своды здесь уходили выше, чем в любом хранилище, — в бархатную, глубокую синеву, где не было ни ламп, ни окон, но был свет: ровный, золотистый, идущий ниоткуда, как свет идёт изнутри у спелых плодов.

А посреди хранилища лежало золото.

Оно лежало не слитками и не монетами — по крайней мере поначалу Пламбу так показалось. Оно лежало холмами, как песок на отмели, как осенние листья в парке, оно лежало так естественно и так щедро, что с первого взгляда было непонятно, где кончается пол и начинается оно. Золотая пыль. Золотая крупа. Золотые чешуйки, тонкие, как пепел, и золотые слитки, тяжёлые, как приговоры. И над всем этим стоял звук — Пламб слышал его не сразу, — тихий, непрерывный шелест, шорох, сыпучий шепот: золото прибывало. Сверху, из синей темноты, беззвучно почти, сеялось и сея-

лось новое, и холмы росли, неторопливо и неудержимо, как растёт тесто, как растёт опухоль, как растёт слух.

Золото, которое не кончается.

Пламб стоял и смотрел, и у него перехватило дыхание — не от страха, нет, от счастья, от того самого, чистого, первобытного счастья, какое бывает, наверное, у человека, дошедшего до золотой жилы, о которой говорили, что её не существует. Он опустился на колени. Он запустил руки — свои белые, аккуратные, клерковые руки — в золотую крупу по локоть, и она была тёплой, теплее, чем положено быть металлу, тёплой и живой, как свежее зерно. Он зачерпнул её горстями, он черпал и черпал, и что-то в груди его — там, где теперь была пустая комната без пианино, — заполнилось вдруг торжеством такой силы, что он засмеялся вслух, хрипло и счастливо, и эхо под синими сводами подхватило его смех и повторило, и показалось ему, что смеются многие.

Он не знал, сколько простоял так — время здесь не ходило, оно сыпалось. Пламб поднялся с колен и пошёл вдоль холмов, и золото под его подошвами отзывалось мелко и сухо, как крупа, как песок, как то, чему нет конца, — и он шёл и шёл, и своды не приближались, и синь не светлела, и он понял вдруг, с запоздалым канцелярским удовольствием, что помещение безупречно: ни окон, через которые уходит тепло, ни дверей, через которые уходит добро, — одна дверь, та самая, бронзовая, и та уже сомкнулась за ним так мягко, что он не услышал. Хранилище хранило. Это было его назначе-

ние, и оно исполняло его неукоснительно, как исполнял своё Пламб двадцать три года подряд.

Он нагнулся и поднял слиток. Тяжёлый — приятно тяжёлый, тяжестью обещания; холодный сначала, а потом нет, потом тёплющий в ладони, как греется в руке монета, которую долго держали в кулаке. На слитке не было клейма. Пламб присмотрелся: не было — и вместо клейма, там, где полагается проба и номер, золото было гладким, как вода, и в этой глади, на самом дне блеска, дрожало что-то тёмное, маленькое, похожее на отражение. Пламб поднёс слиток ближе к глазам — и отдёрнул руку: отражение было его собственным, но улыбалось оно не так, как умел улыбаться Пламб, — шире, спокойнее, с той довольной неподвижностью, какая бывает у вещей, которые наконец заняли своё место.

Он бросил слиток. Слиток упал на холм с тем густым, сытым звуком, с каким падают спелые плоды, и золото приняло его обратно без возражений, как принимает море брошенный в него камень, — навсегда, без пузырей.

— Всё в порядке, — сказал Пламб вслух, и голос его прозвучал под сводами чуждо и звонко, с металлическим подбоем, и он сам испугался этого звука, но тут же успокоил себя: акустика. Пустые помещения. Своды. Он, Эзекииль Пламб, сорок девять лет, клерк, он знает, что такое акустика, он читал энциклопедию, третий том, от «Абака» до «Азимута», там было и про акустику, и про золото, и про то, что золото не окисляется, не тускнеет, не портится, — вечный ме-

талл, металл королей и банков, металл, который переживает руки, державшие его, переживает страны, чеканившие его, переживает имена. Вот почему он просил золото, а не бумагу. Бумага — это обещание. Золото — это факт. А Эзекииль Пламб всю жизнь имел дело с обещаниями и знал им цену: двадцать три года канцелярии, шесть жалований за брошь, купленную походя, жена, не разговаривающая без необходимости, дочь, смотрящая с вежливой жалостью, — всё это были обещания, и все они обесценились, как обесценивается всё, что можно напечатать.

Он снова опустил на колени. Он снова запустил руки в крупу. Он черпал и насыпал, насыпал и черпал, и холм перед ним рос, и шелест под сводами стоял ровный, непрерывный, сыпучий, — золото прибывало, сеялось сверху, из си-ней темноты, без облаков и без источника, как сеется манна, как сеется пепел над городом, в котором что-то большое догорает дотла, — и Пламб думал, что теперь, теперь-то его жизнь наконец заполнится, потому что пустота, как известно любому клерку, это просто недостаток заполнения, а чем заполнять, как не фактом, чем заполнять, как не металлом, который не кончается.

Он не заметил, когда золото начало прибывать внутри него.

Первым был звон в зубах — лёгкий, как отклик на холод. Потом во рту стало металлически, сладко, и Пламб сплюнул, и плевок его, лёжа на золотом холме, заблестел, заструился,

сворачиваясь в бусинки цвета короны. Он подумал: показалось. Он подумал: нервы. Он снова запустил руки в крупу — и не смог их вытащить: холм держал. Не сжимал, не хватал — просто золото вокруг его запястий стало вдруг плотным, как тесто, как глина, как рука, взятая в руку, — и из глубины холма, из самого его тёплого нутра, по пальцам Пламба пошло вверх покалывание, мелкое, частое, золотое.

Дверь давала ровно то, что просили. Золото, которое не кончается, — оно не кончалось нигде: ни в хранилище, ни в карманах, ни в кулаках, ни в венах. Оно прибывало. Оно прибывало в Эзекииля Пламба изнутри, из той самой пустой комнаты, где больше не стояло пианино, — потому что пустота, как известно дверям, требует наполнения, а золото — металл терпеливый и безотказный, оно всегда готово.

Пламб хотел закричать, и закричал — но звук вышел густой, с хрустом, с мелким перезвоном, словно кричал не человек, а колокол, наполненный монетами. Он упал на холм лицом, и холм принял его мягко, по-матерински, золотая пыль взвилась и осела ему на плечи, на седеющий затылок, на застёгнутый на все пуговицы пиджак, — и в последний миг, когда свет под синими сводами дрогнул, как дрожит свет, когда уносят лампу, Эзекииль Пламб успел подумать — ясно, спокойно, канцелярски ясно, — что формулировка действительно была отличная. Безупречная. С обоснованиями. С пунктами.

Золото, которое не кончается.

А через час, когда холмы улеглись и сыпучий шепот под сводами стал тише, дверь цвета старой бронзы закрылась — сама, мягко, как закрывают дверь в комнату, где наконец уснули, — и в хранилище, на вершине самого высокого из золотых холмов, осталась лежать, сверкая в ниоткуда идущем свете, небольшая человеческая фигура, отлитая из чистого золота, с аккуратными ногтями и тугим воротничком, с лицом спокойным и почти счастливым, — и золото вокруг неё всё прибывало и прибывало, тихое, щедрое, нескончаемое, как моросит бесконечный лондонский дождь.

Дверь не обманывает. Никогда.

Старик ушёл, но не наверх.

Феяс заметил это по звуку: шаги на лестницу не поднялись — они ушли вглубь, в библиотеку, и там затихли, не растворившись, — старик остановился где-то в проходе и стоял, как стоят перед книгой, которую боятся открыть не потому, что страшно, а потому, что дорого. Феяс посидел за стойкой ещё немного, досчитал до ста — он делал это, когда не знал, как поступить: счёт был единственной математикой, доступной лавке, — и пошёл следом, взяв свечу.

Он нашёл старика в третьей секции, у ряда П.

Старик стоял перед полкой, на которой — между «Питтс, желание исполнено» и «Прайс, желание исполнено» — теперь теплился новый пузырьрёк, и смотрел на него с выражением, которого Феяс не мог прочесть: не торжество и не скорбь, а что-то среднее между ремесленной оценкой и стыдом. В руке старик держал стремянку — она стояла тут же, приставленная, трёхступенная, грушевого дерева, истёртая на ступенях до блеска, — но не поднимался. Лампа его стояла на полу, у ног, и свет шёл снизу вверх, и старик в этом свете был похож на того, кем был: на очень старого ребёнка, застигнутого на месте того, что он натворил.

— Ты поставил его не туда, — сказал старик, не оборачиваясь. Он никогда не удивлялся, когда Феяс подходил сзади;

лавка, вероятно, докладывала ему о шагах, как докладывала обо всём. — Не вини себя. Ты поставил его по алфавиту, а алфавит — это для книг. Сферы ставят по-другому.

— Как? — спросил Феяс.

— По голоду, — сказал старик.

Он поднялся по ступеням — медленно, держась обеими руками, и Феяс видел, как на каждой ступени старик взвешивает что-то, чего не видно: может быть, возраст, может быть, расстояние, может быть, цену. На третьей ступени он остановился, потянулся, взял пузырёк Эзекииля Пламба двумя пальцами — точно так же, как это делал Феяс, и Феяс понял вдруг, от кого он перенял этот жест, — и перенёс его на две полки выше, в ряд, где сферы стояли реже, где между пузырьками зияли промежутки, как зияют окна в доме, из которого выселились не все.

— Вот сюда, — сказал старик. — Пусть сидит с такими же. Голод узнаёт голод, мальчик мой. Если поставить его к тем, кто просил о любви, — он будет шуметь. Если поставить к тем, кто просил о смерти, — он будет молчать слишком громко. А здесь, среди тех, кто просил металл, камень и долги, ему будет тихо. Они дремлют чинно, как прихожане. — Он спустился, тяжело, и постоял, отдуваясь, глядя на полку снизу вверх, и свет лампы полз по рядам, по сотням маленьких стёкол, и в каждом, не гася, дрожал огонёк, и все они вместе были похожи на город, виденный с холма в безлунную ночь: жилые окна, жилые, жилые окна.

— Сколько их? — спросил Феяс. Он не спрашивал этого никогда. Он и сейчас не собирался — вопрос вышел сам, как выходит вздох.

— Не знаю, — сказал старик.

Феяс посмотрел на него.

— Не знаю, — повторил старик, и в голосе его не было ни шуток, ни чудачества. — Я перестал считать, когда понял, что счёт их делает моими. Понимаешь? Сосчитанное — присвоенное. Пока я не знаю, сколько их, они — хозяева, а я — сторож. А сторож, мальчик мой, это почти честная профессия. Почти. — Он поднял лампу, и лицо его ушло из света в тень, и из тени донеслось: — Пойдём. Здесь больше нечего делать. Здесь никогда больше нечего делать, и это единственное, что меня в этой полке утешает.

Они шли обратно по главному проходу рядом, и это было редкостью: обычно по библиотеке они ходили порознь, каждый в своё время, как ходят порознь смены сторожей. Лампа старика и свеча Феяса шли рядом, и два огонька — керосиновый и восковой — тянули за собой по полкам две тени, и тени эти на корешках и стёклах были одинаковыми, как одинаковы тени у всех, кто несёт свет, — безымянными и длинными.

— Скажи, а первый из них, — Феяс кивнул в сторону полок, — ты его помнишь?

Старик не ответил так долго, что Феяс уже решил: не ответит. Они дошли до арки. Они прошли под ней. Старик по-

ставил лампу на стойку, привычно подвинул очки на лоб и только тогда сказал:

— Помню. — Он помолчал. — Он пришёл за тем же, за чем приходят все, и ушёл тем же путём, и пузырьёк его стоит там, в нулевом ряду, в самой глубине, где кончается алфавит. Я ношу туда свежую сажу, чтобы пыль не отличала его от прочих. — Голос старика был ровный, будничный, как голос человека, сообщающего цену. — Он был моим первым, и я был — его. В смысле: я был тогда тем, кто стоит за стойкой, а он был тем, кто входит. И вот что я скажу тебе, мальчик мой, и ты послушай, потому что это единственное, что я знаю точно: лавка не выбирает жадных. Она выбирает пустых. Жадность — это только форма, а пустота — содержание. Когда ты поймёшь, чем пуст ты сам, — считай, что вышел на свою дорогу. Только не торопись её понять. Дороги здесь не любят, когда по ним торопятся.

Он повернулся и пошёл к лестнице — теперь уже наверх, — и на третьей ступени обернулся, и лицо его, с жилетом, с иглами седых волос, с очками на лбу, было в этот миг таким, каким Феяс запомнил его надолго: не мудрым, не безумным, а усталым, — усталым так, как устают вещи, а не люди, как устает маяк: не от бури, а от того, что горит.

— Спи, — сказал старик.

— Ты уже говорил, — сказал Феяс.

— Я всегда говорю одно и то же, — отозвался старик из темноты лестницы. — В этом и состоит моя работа. Повар

повторяет блюдо. Сторож повторяет обход. Я повторяю предупреждение. Однажды — вот увидишь — его услышат, и я смогу наконец сказать что-нибудь новое.

Лестница закрипела, принимая его вес, — тихо, по-старчески, — и стихла.

Когда Феяс вернулся в зал, старик сидел за стойкой на его, Феясова, табурете — что случалось редко и всегда означало, что старик хочет говорить, — и разворачивал на прилавке салфетку, а в салфетке лежал ужин: ломоть хлеба, луковица и кусок сыра, пахнувшего аммиаком и одиночеством.

— Садись, — сказал старик, не поднимая головы. — Поешь.

— Я не голоден, — сказал Феяс.

— Ты никогда не голоден, — согласился старик и всё же отломил половину хлеба и положил её перед вторым табуретом, который появился у стойки — Феяс не заметил откуда; вещи в лавке имели обыкновение являться туда, где им полагалось быть. — Садись всё равно. Еда — это не про голод, мальчик мой. Еда — это про то, что ты ещё здесь.

Феяс сел. Он взял хлеб — тяжёлый, подмосковно-чёрный, с хрустящей коркой, — и они некоторое время ели молча, и это молчание было из тех, что бывают между людьми, которые давно живут рядом и уже не нуждаются в словах, как не нуждается в объяснениях течение реки. За окном — за витриной с куклой без лица и книгой цвета ночи — стоял туман, и свет угасающей свечи ложился на стекло, и в стекле, как в тёмной воде, отражались двое: старый человек в жилете с девятью карманами и мальчик в костюме цвета траура, и оба

жевали хлеб, и оба смотрели прямо перед собой, и оба были похожи на людей, сидящих на перроне, по которому давно не ходят поезда.

— Он не выйдет, — сказал наконец Феяс. Это не был вопрос.

— Нет, — сказал старик. Он откусил лук, как откусывают яблоко, и глаза его на мгновение наполнились слезами — от лука, вероятно. — Он получил ровно то, что просил. Ты видел формулировку. Безупречная работа. Сорок девять лет жизни, и лучшее, что он в них написал, — это собственный приговор, и написал он его красиво, банковским почерком, с пунктами. — Старик пожевал, проглотил. — Знаешь, что самое страшное в людях, мальчик мой? Не жадность. Жадность — это просто голод, повёрнутый не в ту сторону. Самое страшное — это то, как мало они просят. Приходят сюда, в место, где возможно всё, — и просят металл. Металл, который не кончается. — Он покачал головой, и седые иглы его волос качнулись, как трава. — Иногда я думаю: если бы я был жестоким человеком, я бы им объяснял. Но я не жестокий. Я просто функция. А функция не объясняет — функция исполняет.

— А что нужно было просить? — спросил Феяс.

Он спросил это тихо, не глядя на старика, глядя на своё отражение в тёмной витрине — бледное лицо, пепельные волосы, серые глаза, в которых догорала свеча. Он не ждал ответа. Он вообще редко ждал ответов, потому что давно за-

метил: старик отвечает охотнее всего на те вопросы, которых не задавали.

Но старик ответил.

— Чего-нибудь, чего нельзя взвесить, — сказал он. Он доел хлеб, стряхнул крошки с жилета — в один из девяти карманов, кажется, — и сполз с табурета. — Чего-нибудь, что нельзя потерять, потому что оно не в карманах лежит. Знаешь, сколько раз за все мои годы — а они длиннее, чем кажется, мальчик мой, гораздо длиннее, — кто-нибудь просил что-нибудь такое? — Он взял лампу, поднял её так, что свет лёг ему на лицо снизу, и лицо стало похоже на маску, вырезанную из яблока, которое пролежало всю зиму. — Я сосчитал. Хочешь, скажу?

— Нет, — сказал Феяс.

— Правильно, — сказал старик с одобрением. — Цифры — единственная ложь, которой я не выношу. — Он повернулся к арке, потом обернулся, и глаза его за железной оправой на мгновение остановились на Феясе с тем особенным выражением — внимательным, виноватым и хитрым разом, — с каким смотрят на вещь, которую когда-то спрятали и теперь никак не могут вспомнить куда. — Ты спрашивал у него, кто его послал?

— Спрашивал. Он не помнил.

— Никто не помнит, — старик кивнул, как кивают прогнозу погоды. — Лавка сама их находит. Тупик сам. Ты ведь тоже не помнишь, как сюда попал.

Феяс молчал. Свеча на стойке догорела до жестяного блюдца и погасла — тихо, с коротким вздохом, — и в зале стало темнее и одновременно яснее, как становится яснее в комнате, когда из неё уходит лишний человек.

— Не помню, — сказал он наконец.

— И не уходишь, — сказал старик. Он уже стоял у арки, и тень от стеллажей лежала на нём до пояса, как вода в пересохшем колодце лежит на дне. — Почему?

Феяс смотрел на тёмную витрину. За стеклом стоял туман, и в тумане не было ни фонарей, ни прохожих, ни города — был только туман, бесконечный и терпеливый, как вата, которой затыкают уши миру.

— Скажи, — Феяс говорил медленно, подбирая слова, как подбирают камни на отмели: по одному, не глядя вверх, — а колокольчик. Он ведь не просто звенит. Он выбирает. Почему для одних он звенит, а для других молчит?

Старик доел лук. Вытер пальцы о жилет — в тот карман, что левее, третий, если считать снизу, — и только потом ответил, и голос его был уже не ужинный, а ночной, тот самый, каким говорят вещи, которых не говорят при лампе:

— Потому что он не колокольчик, мальчик мой. Он — слухач. Лавка глуха, вся эта её медь и дерево, а ей надобно знать, кто стучится: гость или погода. Вот он и слушает за неё. Слушает не слова — слова врут все, и ты это знаешь лучше прочих, — а пустоту. У каждого вошедшего пустота своя, как почерк. У того, кто ещё может вернуться домой,

пустота мала — с горошину, с монету: такого колокольчик прогоняет молчанием, пусть идёт, пусть живёт, в лавке его пустота не наполнится ничем, кроме беды. А у того, в ком пустота уже с колодец, — звенит. Открывает счёт. — Он взял со стойки огарок, повертел в пальцах. — Ты спросишь: почему трещина? А вот почему. Однажды он прозвенел для того, для кого не должен был. Давно. Очень давно, раньше тебя, раньше меня, раньше этих полок — почти. И с тех пор треснул. Совесть, если хочешь знать. Даже у меди она есть, если медь достаточно старая.

— Для кого? — спросил Феяс.

— Для того, кто пришёл без пустоты, — сказал старик. И замолчал. И замолчал так основательно, что стало ясно: больше он сегодня не скажет ничего, и завтра не скажет, и через год — если годы здесь вообще что-то значат, — и что этот вопрос Феяс теперь будет носить с собой, как носят в кармане камень: не для пользы, а для веса. — А теперь послушай меня, — старик вдруг оживился, и голос его стал снова ужиным, домашним, — ты ведь так и не сказал, как он тебе. Клерк этот. Пламб.

— Как все, — сказал Феяс.

— Как все, — согласился старик, и кивнул, и был этим, кажется, доволен и огорчён одновременно, как бывают довольны и огорчены правильным ответом на глупый экзамене. — Как все. Вот поэтому ты и стоишь за этой стойкой, а не лежишь на той полке. Ты видишь их насквозь и не то-

ропишься. Они этого не прощают, знаешь. Люди прощают жестокость. Люди прощают обман. Люди не прощают только одного: когда их видят такими, какие они есть, — и не удивляются. — Он сполз с табурета, потянулся, хрустнул спиной, как старая полка. — Ладно. Пойду проверю, что там с часами. Если ночью услышишь, что они бьют, — не верь. Часы в этой лавке бьют только для себя.

— Некуда, — сказал Феяс.

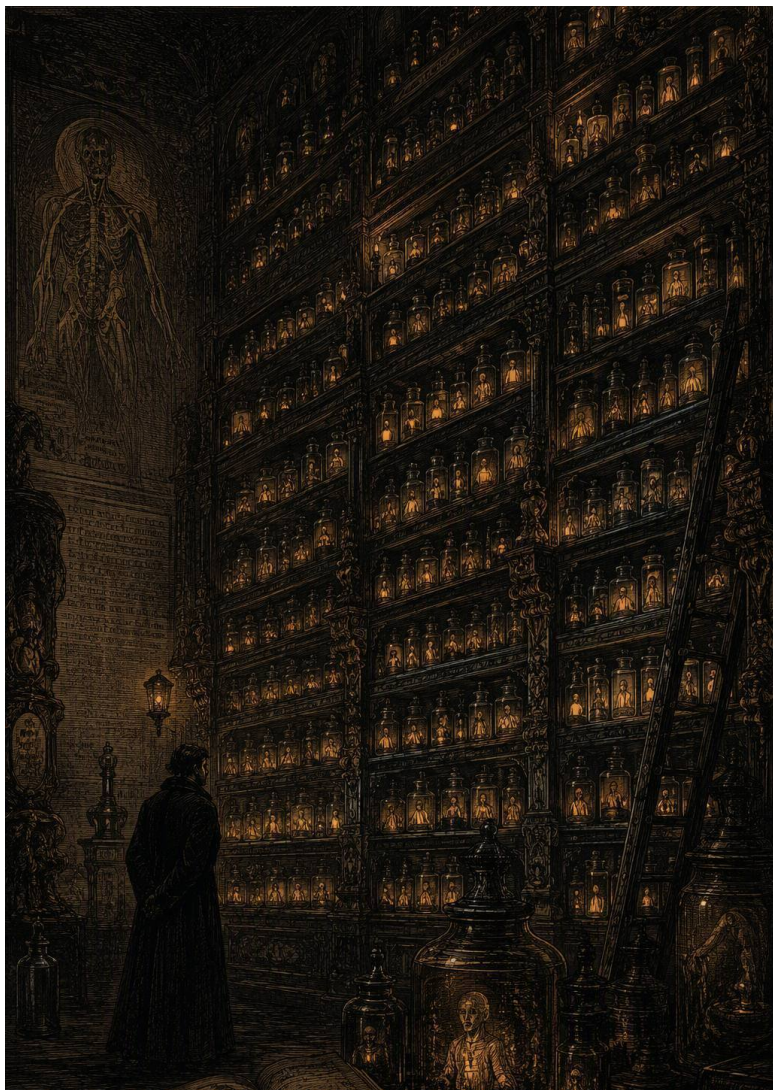
— Некуда, — повторил старик, и в голосе его не было ни жалости, ни удовлетворения — одно согласие, простое и горькое, как согласие врача. — Вот поэтому ты и лучший помощник из всех, что у меня были. Их всех что-то ждало снаружи. А тебя — нет. — Он помолчал, и в этой паузе где-то глубоко в библиотеке, в невозможной её дали, тихо закрылась дверь цвета старой бронзы, и механическая птица в клетке проверещала что-то короткое и сплюнула шестерёнку. — Спи, мальчик мой. Ночь будет долгая. Они всегда долгие, когда кто-то не выходит.

Старик ушёл — куда-то наверх, где у него была комната, которую Феяс никогда не видел и видеть не хотел, потому что некоторые двери в Лисатруме вели туда, куда вели, и это была одна из них, — и лавка осталась Феясу.

Ночная лавка была другим зверем, нежели дневная. Днём она дремала, прикинувшись вещами; ночью она открывала глаза — все сразу, тысячами глаз, и каждый был стеклом, и в каждом отражалась одна и та же свеча, которую Феяс нёс в руке, шагая между стеллажами свой обычный ночной круг. Он делал это каждую ночь. Он не знал, было ли это частью работы или привычкой, похожей на дыхание, — но он знал, что если не обойти лавку, не посмотреть на двери, не послушать полки, то утром что-нибудь будет не так: вещь окажется не на месте, книга — открытой, а однажды, очень давно, в зале нашлись чьи-то следы, ведущие от дверей к витрине и обратно, маленькие, босые, с шестью пальцами.

Сначала он обошёл зал. Механическая птица в клетке спала, поджав голову под крыло, и сквозь прутья было видно, как в груди у неё медленно, со скрипом, вращается главное колесо. Шахматная партия стояла неизменной — белый ферзь всё так же висел, как висел, насколько помнил Феяс, всегда. Потом он прошёл в библиотеку и пошёл по главному проходу, и полки со сферами светились ему навстречу сла-

бым, ровным, пепельно-янтарным светом, как светятся окна спящего поезда, мимо которого ты стоишь ночью, и не едешь, и не знаешь, куда он идёт.



Ряд П. Третья секция. Новый пузырьёк стоял между Питтсом и Прайсом, и огонёк в нём уже ровный — освоился. Феяс остановился напротив. Он поднял свечу, и свет скользнул по стеклу, и на мгновение ему почудилось — ему всегда чудилось, — что сферы, когда он проходит мимо, чуть поворачиваются, как поворачиваются вслед подсолнухи, — не к свету, нет: к теплу. Что они узнают его. Что они ждут его, единственного тёплого — он усмехнулся про себя этой мысли, потому что тёплым он не был даже на ощупь; он проверял: руки у него были холодные, всегда, даже летом, даже у огня, — единственного, кто ходит между ними и молчит, как молчат они.

— Доброй ночи, — сказал Феяс.

Он не знал, зачем говорил это. Он говорил это каждую ночь. Полки не отвечали, и в этом было их главное достоинство.

Двери он проверял по очереди и всегда в одном порядке — слева направо, как читают, — и этот порядок не был его выдумкой: однажды, очень давно, он начал справа, и ночь тогда выдалась длинной сверх всякой меры, а утром книга цвета ночи в витрине стояла раскрытой, хотя никто её не открывал. С тех пор — слева направо.

Первой стояла дверь зеркал. Она была высокая, до самой темноты, в раме из чего-то белого и старого, что Феяс дол-

го принимал за кость, пока не понял, что это соль — спрессованная, вековая соль, из тех глубин, где море умирает и оставляет после себя белое. Полотно двери было сплошным зеркалом, и это было её единственное непорядочество: зеркало в лавке — вещь непорядочная. Феяс никогда не смотрелся в него дольше, чем нужно, чтобы удостовериться, что замок цел; отражение в нём отставало — на полвздоха, на дыхание, — и однажды, в ночь, когда менялся счёт, отражение не отстало, а осталось стоять, когда Феяс уже отвернулся, и стояло, глядя ему в спину, пока он не ушёл. Об этом он не рассказал старику. Старик, вероятно, знал и так.

Второй была дверь цвета старой бронзы, с ручкой в виде руки, — сегодня она стояла тихая, сытая, довольная, и ручка-рука, всегда холодная, сегодня была тёплой, как будто её только что отпустили. Феяс не стал её трогать. Он вообще не любил эту ручку: взяться за неё — значило поздороваться, а он не был уверен, что хочет здороваться с тем, что живёт по ту сторону сделок.

Третьей была дверь глубокого синего — той самой синевы, какая бывает внутри волны, если бы в волну можно было заглянуть из-под воды, глядя вверх. Её Феяс не любил больше всех и проверял быстрее всех: два замка, целы; порог, сухой; из-под двери не тянуло. От неё всегда тянуло — не сквозняком, нет: вниманием. Она слушала. Все двери слушали, но эта — наклонившись. Однажды он простоял перед ней дольше нужного, и ему почудилось, что по ту сторону,

далеко, как сквозь толщу воды, кто-то идёт — не к двери, просто идёт, своим путём, вечным, как идут по кругу, — и что шаги у этого кого-то не спешат, потому что спешить ему некуда и некогда, и что идёт он очень, очень давно. Феяс тогда отошёл и больше перед синей дверью не задерживался.

Четвёртая была обита войлоком, и из-за неё не доносились ничего, никогда; войлок впитывал всё, и старик говорил, что это дверь «для тех, кто просит тишины», и что за ней — тишина, полная, добротная, как подвальный мёд, и что выходят оттуда редко, потому что тишина, которую просят всю жизнь, получившись, оказывается крепче любых стен. Пятая была из чего-то, похожего на кость, — белая, тёплая на вид и холодная на ощупь, и Феяс не знал, что за ней, и не спрашивал; замок на ней был новый, относительно: старик поменял его лет... сколько-то назад, после той самой ночи, когда в зале нашлись босые шестипалые следы. Шестая была маленькая, по колено, с медной ручкой, облизанной временем до гладкости слова, — «эта не для нас», — и Феяс, проверяя её, всегда кланялся; он не знал почему; тело знало за него.

Он дошёл до конца прохода, где библиотека упиралась в стену, которой не было на чертежах, и где стояли двери. Их было семь — сегодня семь; бывало, утром их оказывалось шесть или девять, и старик в такие дни хмурился и проверял замки. Шесть стояли рядом, как стоят приговорённые к ожиданию, и седьмая — в самом конце, у самой стены —

была дверью, которой не было вовсе.

Вернее, она была — но только для него. Он знал это так же точно и бесполезно, как знают собственное имя. Дверь эта не имела цвета, ручки и петель; она была просто местом в стене, прямоугольником чуть более глубокой темноты, и если поднести к ней свечу, пламя начинало дрожать, как дрожит вода, когда по ней идёт что-то тяжёлое, невидимое глазу. Старик о ней не говорил никогда. Феяс не спрашивал никогда. Таков был между ними договор — не письменный, не высказанный, но крепкий, как те клятвы, что держатся дольше всех: клятвы молчания.

Помощник не открывает собственную дверь.

Он не помнил, откуда он это знает. Он просто знал — так, как знают, что нельзя дышать под водой, что нельзя будить лунатика, что нельзя поворачиваться спиной к морю. Он стоял перед своей дверью, и свеча дрожала в его руке, и он смотрел на прямоугольник глубокой темноты и думал то, что думал каждую ночь: что за ней, вероятно, лежит ответ на вопрос, который он давно перестал себе задавать, — кто он, откуда пришёл, почему остаётся, — и что ответ этот, как всё, что дают двери, будет стоять ровно столько, сколько он не готов заплатить.

Он постоял так некоторое время — сколько, он не знал; время в лавке текло иначе, толком его здесь не было, была только очерёдность событий, как очерёдность страниц в книге без номеров. Потом он повернулся и пошёл назад, к залу,

к стойке, к догоревшей свече, — медленно, неторопливо, и тени от стеллажей ложились на него поперёк, как прутья, как перила, как лесенка, по которой никто не спускается.

Ближе к тому часу, который в лавке считался глухим, — старик называл его «час, когда Бог дремлет», и говорил это без богохульства, с той простой завистью, с какой говорят о человеке, которому можно, — Феяс вернулся в зал и сел за стойку. Свеча перед ним стояла новая; обгоревший огарок, тёплый и мягкий, как ухо, он отнёс в жестяную банку под стойкой, где лежали сотни таких же огарков, — старик не выбрасывал воск, говорил, что воск «помнит свет», и раз в год, в ночи, когда менялся счёт, плавил их все в одну свечу, толстую, слоистую, разноцветную от сажи, и зажигал её где-то наверху, в своей невидимой комнате, и тогда по всей лавке пахло сразу всеми годами.

Феяс сидел и слушал лавку. Это было его ночным ремеслом, его настоящей работой, — не стоять за стойкой, не записывать, не подавать пузырьки, а слушать. Лавка говорила не голосами — треском, вздохами, тонкой переключкой дерева и стекла, — и по этой переключке Феяс читал её состояние, как читают карту: вот проснулась и повернулась на полке сфера, взятая недавно, она ещё шумит, как шумит новичок в казарме; вот в верхних ярусах библиотеки перебралась с места на место одна из незваных гостей — лёгкая, пыльная возня, похожая на то, как перелистывают страницы в темноте; вот далеко, глубоко, где стеллажи кончались

и начиналось то, что Феяс называл про себя «далью», хотя никакой дали там, по всем меркам города, быть не могло, — одна из дверей тихо запела, и нота её была сегодня ровная, сытая, довольная.

Сытая, подумал Феяс. Дверь цвета старой бронзы получила своё. Золото, которое не кончается, теперь не кончалось нигде — ни в хранилище под синими сводами, ни в венах того, кто просил, — а лавка получила пузырьёк с тёплым куском души, который уже дремал на полке между Питтсом и Прайсом, и вся эта круговая порука была так стара, так отлажена, так привычна, что Феяс, слушая её, чувствовал не ужас и не жалость, а только ту ровную усталость, какую чувствуют, наверное, часы, которые очень долго ходят верно.

Он попытался вспомнить. Он делал это по ночам, как делают зарядку, — медленно, без надежды, из одной только аккуратности.

Сначала он попытался вспомнить лицо.

Любое. Он стоял перед своей дверью, перед прямоугольником более глубокой темноты, и ставил себе эту задачу, как ставят свечу на подоконник: маленький огонь против большой ночи. Лицо. Матери, отца, брата, — он не знал, были ли у него мать, отец, брат, но слова эти существовали, значит, должны были существовать и те, кого они зовут. Он закрыл глаза. Он вызывал. В белизне, в этом снегу, что стоял у него внутри вместо прошлого, ничего не шевельнулось — ни разу за все годы, если годы здесь считались. Только однажды

— он помнил это, как помнят единственный удар грома за тихое лето, — однажды, в ночь, когда менялся счёт и старик наверху плавил огарки, сквозь белизну проступило что-то: рука. Не лицо — рука. Женская, судя по всему; в перчатке; тёмная перчатка, мелкая вышивка на запястье, и жест — рука отодвигала что-то, прикрывала, загораживала его, Феяса, от чего-то, чего он не видел и теперь уже, наверное, никогда не увидит. Рука проступила и погасла, как проступает и гаснет в воде брошенный камень, и больше не было ничего, ни в ту ночь, ни после. Но с той ночи Феяс знал про себя одно, и знал твёрдо: кто-то когда-то его заслонял. Кто-то счёл, что он стоит того, чтобы его заслонить. Это была вся его родня, вся его биография, весь его портрет на стене: рука в тёмной перчатке, отодвигающая беду.

Тогда он попытался вспомнить звук.

Звук пришёл охотнее — звуки всегда были добрее к нему, чем лиц. Колокол. Не колокольчик над дверью — тот был медный, домашний, треснувший, — а большой, далёкий, церковный ли, колокольный ли, идущий сквозь воду и туман, медленный, как ходит большая рыба в глубине: раз. И раз. И ещё раз. И под колокол — вот странность, которую Феяс никогда никому не рассказывал, потому что рассказывать было некому, — под колокол шёл другой звук, близкий, совсем близкий, у самого уха: тихое, ровное, усталое пение, не песня — скорее дыхание с нотой внутри, как дышат, когда долго несут что-то тяжёлое и убаюкивают себя. И холод.

И запах мокрой листвы. И ткань на плечах, грубая, чужая, пахнувшая дымом. Больше — ничего. Этот набор — колокол, пение, листва, чужая ткань, — вот всё, что Феяс Ливрейз вынес из страны, где жил до того. Ни берега, ни карты. Четыре вещи в платке.

Он держал эти четыре вещи и перебирал их, как перебирают чётки, — каждую ночь, по кругу, без надежды и без отчаяния, потому что для надежды и отчаяния нужно помнить, чего ждёшь. Иногда ему казалось, что колокол звучит по городу, а не по нему, — что там, «до того», хоронили кого-то, много хоронили, подряд, и он шёл в этой процессии, маленький, в чужой ткани на плечах, и рука в тёмной перчатке вела его и загораживала, и пела ему через силу, чтобы он не слушал колокол. А иногда казалось — и это было хуже, — что хоронили его.

Потому что иначе почему костюм? Почему он, встав здесь, за этой стойкой, — а он не помнил, как вставал, — уже был одет как человек, идущий за гробом? Высокий белый воротничок. Тёмное сукно. Ничего лишнего, потому что у горящего не бывает ничего лишнего, горе — оно аскет. Лавка не давала ему одежды — лавка давала вещи, но не одежду; костюм был его, пришёл с ним, из белизны. Значит, там, «до того», он кого-то хоронил — или носил траур так долго, что траур стал кожей. Или — Феяс позволял себе эту мысль редко, как позволяют себе ледник: — или по нему.

Он вспоминал имя. Феяс Ливрейз. Оно отзывалось — вот

странность — оно отзывалось, как отзывается собственное отражение: точно и пусто.

Потом он вспоминал первый день. Первого дня не было. Была — середина. Он не мог восстановить, как впервые вошёл в лавку, как впервые увидел старика, как впервые встал за стойку; вместо этого память выдавала ему сцену, в которой он уже стоял за ней, уже в этом костюме, уже с этими серыми глазами, и старик, глядя на него поверх железных очков, говорил: «Ну вот. Встанешь здесь. Тебе здесь», — и Феяс не помнил, чтобы он спрашивал его согласия, и не помнил, чтобы соглашался, — и в то же время помнил, что слова эти прозвучали не как приказ и не как просьба, а как узнавание, как говорят: «А, вот ты где», — человеку, которого давно не видели и уже перестали ждать.

Иногда — редко, в самые глухие часы, — приходило другое. Не воспоминание даже, а его щель: ему чудилось, что стойка помнит чужие руки. Что до него — давно ли, неизмеримо, — за этим морёным дубом, отполированным локтями, стоял кто-то ещё, и пальцы того лежали на тех же волнах дерева, и конторская книга раскрывалась на тех же страницах, и колокольчик над дверью пел для того, кого уже не было. Феяс не спрашивал старика. Он не спрашивал по той же причине, по какой не подходил к двери, которая была его собственной: некоторые вопросы в Лисатруме имели цену, и цена эта не оглашалась заранее, а он — он был помощником и знал, что покупать вслепую дурно даже здесь, где всё про-

давалось именно вслепую.

Он встал и прошёл вдоль левой стены. Механическая птица в клетке не спала: глаз её, стеклянный, с крошечной шестерёнкой радужки, был повернут на него, и Феяс остановился напротив, и некоторое время они смотрели друг на друга — мальчик, которого нельзя было ранить, и птица, которая пела только при лжи, — и оба молчали, потому что оба были, по сути, одним ремеслом: устройствами, вынутыми из своих коробок и забытыми работающими.

— Ты хоть помнишь, кто тебя сделал? — спросил Феяс тихо.

Птица не ответила. Она не пела — значит, вопрос не был ложью, и ответа на него не существовало. Где-то за стеной, в дали, которой не могло быть, перевернулась страница; где-то наверху старик во сне сказал что-то короткое и внятное на языке, где гласные стояли не на своих местах, и снова стих. Феяс поднял свечу, и свет пошёл по вещам, как рука по спинам спящих, — по перьям веера, по бюрошке с застрявшим пером, по книге цвета ночи, на корешке которой не было ни имени, ни названия, — и на мгновение, на одно только мгновение, ему показалось, что все эти вещи — и книги, и полки, и сферы в стекле и дыму, и тихая, сытая дверь в глубине, и сам он, пепельный, в траурном костюме, — суть одна вещь, одна огромная, терпеливая вещь, которую кто-то, давно и далеко, сложил из своей жизни и отошёл, и стоит теперь где-то за стеной мира, и смотрит, как она работает.

Показалось — и прошло. Феяс вернулся за стойку, сел, сложил руки на конторской книге, на странице, где уже сохла, выведенная его ровным, старомодным почерком, последняя строчка: «Эзекииль Пламб. Желание исполнено. Плата принята».

Он смотрел на эту строчку долго — дольше, чем смотрят на записи о чужих сделках, — и не мог бы сказать, что в ней искал. Может быть, почерк. Может быть, доказательство. Может быть, просто смотрел, потому что смотреть было его работой, а ночь — его сменой.

Он не спал. Вернее, он не знал, спит ли он: были часы — глубокие, ночные, — когда лавка вокруг него становилась мягче и глуше, когда звуки стеллажей сходили на нет, как сходит отмель, и Феяс, сидя за стойкой с закрытыми глазами, проваливался куда-то, где не было ни света, ни памяти, но было движение, медленное и большое, как движение воды подо льдом. Из этих провалов он каждый раз возвращался с одним и тем же ощущением — ощущением отнятого: словно пока он был там, внизу, мимо него, совсем рядом, на расстоянии распахнутой двери, прошло что-то, принадлежавшее ему, — его жизнь, его имя, его смерть, — и не окликнуло его, и не обернулось.

Было в этих провалах и ещё кое-что, о чём он не говорил старику, потому что не знал, как назвать: глубину. Каждый раз, закрывая глаза за стойкой, Феяс чувствовал, что проваливается не в сон, а в слой — как проваливается камень сквозь воду, минуя согретые солнцем верхние локти, в холод, где уже не живёт ничего рыбьего, — и там, внизу, в абсолютной темноте, которая была не чернотой, а отсутствием вопроса о свете, что-то лежало. Большое. Неподвижное. Свернувшееся. Феяс никогда не подплывал близко — он понимал, что это и есть дно его памяти, то самое дно, к которому не опускаются якоря, — но всякий раз, зависнув над этим

большим и свернувшимся на почтительном расстоянии, он слышал: оно дышало. Раз в год, может быть. Раз в столетие. Дыхание — не угроза, не зов, просто признак того, что оно не умерло и не собирается, — и от этого дыхания вся вода вокруг, вся его белизна, весь его снег чуть-чуть поднимался и опускался, как поднимается и опускается грудь спящего города.

Просыпался он от этого всегда одинаково: с холодными руками, с ровным сердцем, с мыслью, которую не помнил, но которая оставляла после себя привкус, как оставляет привкус проглоченный во сне ключ.

В ту ночь — в ночь, когда Эзекииль Пламб лежал на вершине золотого холма, сверкая под синими сводами чистым, вылитым из него самого памятником, — Феяс сидел за стойкой и смотрел, как за витриной медленно, по капле, рассветает туман. Рассвет в тупике Чёрного Фонаря наступал не так, как в городе: не светлело небо — светлело стекло. Тьма за витриной редела, отступала, и вместо неё проступала улица: кирпич, мокрый камень мостовой, честная стена на том месте, где тупика уже не будет до следующего вечера.

Феяс смотрел на витрину, и в стекле, поверх улицы, плыло его отражение: бледное лицо, пепельные, почти седые волосы, серые миндалевидные глаза, тёмный костюм, белый воротничок. Он смотрел на него, как смотрят на фотографию человека, которого знал когда-то, но давно, и теперь не можешь вспомнить, при каких обстоятельствах. Отраже-

ние смотрело в ответ — спокойно, равнодушно, с той рыбьей неподвижностью взгляда, из-за которой клиенты потом не спали, — и Феяс подумал вдруг, без всякого чувства, просто констатируя, как констатируют погоду за окном: вот так выглядит человек, которого никто нигде не ждёт.

Где-то за стеной, в глубине библиотеки, тихо и ровно светила полка со сферами — сотни тёплых огоньков в стекле и дыму, сотни вынутых из людей кусков, и среди них теперь горел и тот, что ещё вчера согревал грудь банковского клерка с аккуратными ногтями. Огоньки не знали имён. Огонькам не было больно. Они просто грелись в темноте, ряды за рядами, секция за секцией, и дышали, и ждали — чего, никто не знал, даже старик; может быть, просто ждали, потому что ждать было теперь их работой, как стоять за стойкой было работой Феяса.

Он сидел так до тех пор, пока витрина не просветлела окончательно и тупик Чёрного Фонаря не стал забирать у мира свои вещи: мостовую, кирпич, пожарную лестницу, похожую на ноты. Стена возвращалась — медленно, с достоинством актёра, доигравшего роль до конца, — и вместе с ней возвращалось то, что Феяс называл про себя днём: не время, нет; просто смена караула у света. Скоро настоящий Лондон проснётся окончательно — задрезежат омнибусы, задымят трубы, понесутся по мостовым миллионы шагов, и в каждом десятитысячном будет та самая дробь, та особенная поступь человека, которому уже некуда возвращаться, — и тупик бу-

дет стоять посреди города и слушать, и выбирать, и ждать вечера, чтобы открыть стену, как открывают дверцу сторожке.

Феяс поднялся, прошёл к двери и снял с кожаного ремешка колокольчик — это тоже входило в его работу, хотя никто этого не записывал: на день колокольчик снимали, потому что днём лавка была закрыта, а колокольчик, оставленный на двери закрытой лавки, мучился, как мучается сторожевой пёс, которому запретили лаять. Медь в ладони была холодной и гладкой; трещина на боку, залитая изнутри чем-то тёмным, цеплялась за кожу, как цепляется за рукав заусенец. Феяс поднёс колокольчик к свету серого утра и посмотрел внутрь, в этот тёмный залив трещины, — он делал так иногда, не зная зачем; может быть, проверял, — и на дне трещины, как всегда, ничего не было, кроме темноты, и эта темнота, как всегда, показалась ему не пустой, а терпеливой.

Он понёс колокольчик на его дневное место — под стойку, на маленькую полочку из грушевого дерева, где тот лежал до вечера рядом с жестяной банкой восковых огарков, и тёплое с холодным лежали рядом и не мешали друг другу, — и только тогда, уже оборачиваясь, услышал за спиной, из глубины библиотеки, из невозможной её дали, как тихо и весело, сама по себе, звякнула одна из сфер на полке — стекло о стекло, легко, как звякают бокалы в доме, где за стеной пируют. Кто-то из спящих во сне повернулся. Кто-то из них, быть может, видел сон.

Феяс постоял, слушая, как стихает этот звон, и ему поду-

малось — впервые за все годы, если годы здесь считались, — что вот она, разгадка запаха лавки, этого сладковатого, миндального, пыльного воздуха, которым пропахли его волосы и его костюм, и его кожа, и его сны: лавка пахла так, потому что была полна тем, чего не бывает на складах и в банках, — пахла тем, что люди отдали, сами, добровольно, со страхом и с надеждой, за золото, за молодость, за возвращение, за забвение, — и что грелось теперь в стекле и дыму, рядами, секциями, до самой дали, — и не могло согреть никого.

Кроме, может быть, его одного. Потому что он, Феяс, прижимал их к груди каждую. Он не знал почему.

Может быть — это пришло ему в голову в то утро, впервые, и пришло так тихо, что он не испугался, — может быть, потому, что когда-то, очень давно, кто-то точно так же держал что-то тёплое прижатым к нему.

А над низкой дверью, выкрашенной в цвет старой слоновой кости, на кожаном ремешке висел медный колокольчик с трещиной, залитой изнутри чем-то тёмным, и ждал — терпеливо, как умеют ждать только очень старые вещи, — следующего, кто войдёт.

Он уже знал, как прозвенит.

Колокольчик всегда знал заранее. Лавка любила, когда её ждали.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 1

«**Лисатрум в тумане**»(раздел 1) — тупик Чёрного Фонаря, кривая медная вывеска, окно лавки с восковым жёлтым светом.

«**Помощник за стойкой**»(раздел 2) — Феяс Ливрейз над конторской книгой при свече.

«**Полка со сферами**»(раздел 12) — ночная библиотека, сотни тёплых огоньков в стекле и дыму.

Глава 2. Три правила хранителя

1

В ту ночь луна была восковой, жёлтой, неполной — как купюра, обрезанная по краю, — и лавка готовилась.

Феяс чувствовал это с утра: по тому, как пыль оседала не так — не вниз, а вбок, к полкам, как будто полки дышали в этот день глубже; по тому, как механическая птица в клетке чистила перья, которых у неё не было, — шестерёнки, механизм, ржавую медь, — и не пела, хотя в зале никто не лгал; по тому, как старик, спустившись с чайником, не спросил «что?», а сразу сказал: «Сегодня. Ближе к ночи. Красивое желание, мальчик мой. Красивые желания — самые тяжёлые. Они как гвоздь в гроб: их вбивают медленно и с музыкой».

Он был прав — старик всегда был прав, когда говорил о лавке, и неправ, когда говорил о себе. Лавка готовилась. Воздух в ней стал плотным, как становится плотным воздух перед грозой, и запах — тот самый, пыльный, сладковатый, чуть миндальный, — стал гуще, стал почти вкусом, и Феяс, дыша им, чувствовал, как в груди, в комнате без пианино, что-то шевельнулось: не тревога, нет; предвкушение. Лавка предвкушала. Она любила красивые желания — любила их

так, как любит нож хорошую ткань: за то, как они режутся.

Феяс подготовил стойку. Он вытер её тряпкой, смоченной в воде из-под латунного крана, — водой, которая «помнит дождь, которого ещё не было», — и доски под тряпкой темнели, дышали, отдавали запах столетий. Он вынул из ящика чистую салфетку — тканую, не ту, что с кистями, та с кистями была для особых случаев, — и положил её на прилавок, ровно, уголок к уголку. Он проверил чернильницу — чернила цвета грозового неба не кончались никогда, — и перо, и конторскую книгу, и пузырьёк: янтарный, не гранёный, для тех, кто просил красоту.

А потом он сел и стал ждать. Ждать было его работой, и он выполнял её с той совершенной неподвижностью, какую даёт не усилие, а привычка, старая, как камни под фундаментом. Возможно, он умел ждать ещё до того, как пришёл сюда. Он не помнил.

Он вообще мало что помнил о «до того».

Зеркала в лавке не любили луну.

Феяс давно заметил это: стоило луне влезть в узкое окно под самым потолком — окно это, круглое, как иллюминатор, смотрело не на улицу, а куда-то ещё, и что там было за стеклом, Феяс не знал, потому что стекло было матовым от времени, как глаз старого пса, — стоило луне влезть, и все отражающие поверхности в Лисатруме начинали вести себя неприлично. Ножи на полке у старика темнели, как темнеет вода, когда в неё смотрит кто-то, кого не видно. Стекла ап-

течных банок потели изнутри. А дверь зеркал, первая слева в конце главного прохода, в белой раме из спрессованной соли, начинала светиться — слабо, мертвенно, ровно настолько, чтобы было видно: отражение в ней не отстаёт, а ждёт.

В ту ночь, когда началась эта глава, — а глава началась, как всегда, раньше, чем вошёл человек, — луна стояла высоко и была жёлтой, восковой, неполной, как купюра, которую обрезали по краю. Феяс сидел за стойкой и переписывал конторскую книгу — не записи, нет: обложку. Холщовый переплёт истёрся по углам до картона, и старик велел «подклеить, пока книга не обиделась», и Феяс клеил, разведя столлярный клей в фарфоровой чашке, и клей пах кроликом и детством, и Феяс работал медленно, потому что в лавке всё делалось медленно, даже починка, даже гибель.

Старик был дома. Это чувствовалось: наверху, за семью поворотами лестницы, которую Феяс никогда не поднимал, горела лампа — её отблеск падал в зал по ступеням, по перилам, по воздуху, и воздух этот был тёплым и шумным, как бывает тёплым и шумным воздух в доме, где наверху кто-то возится со стеклом. Старик что-то паял. Иногда доносился короткий звон, одинокий и точный, как стук одной капли о дно пустого колодца. Старик напевал — не мелодию: ноту, одну, ту самую, которой он всякий раз совпадал с дверями.

Феяс доклеил угол, прижал его косточкой для загибов — косточка была из настоящей кости, и старик говорил «из ноги», и больше не говорил ничего, — и поднял голову, пото-

му что колокольчик над дверью повернулся на кожаном ремешке.

Не зазвенел. Повернулся. Медленно, тяжело, как поворачивается голова спящего, который слышит сквозь сон, что в дом вошли. Медь его боков потемнела — Феяс видел это даже из-за стойки, — потемнела так, как темнеет монета в кулаке человека, который решился. Колокольчик готовил звук. Феяс опустил косточку, вытер пальцы о полотенце и стал ждать, сложив руки на свежеподклеенной обложке.

Он ждал недолго. Лавка любила, когда её ждали, — но не любила, когда ждали долго.

Сначала пришла женщина — потом, много позже, Феяс узнал её имя, а пока была просто фигура в тумане за витриной, высокая, прямая, в шляпке с вуалью, хотя вуали в том году уже носили только вдовы и актрисы. Она стояла перед честной стеной — Феяс не видел этого, но знал, как знал всегда: стена отодвигалась, тупик открывался, узкая щель улицы уходила вглубь под ломаным углом, — и она стояла и смотрела на огонёк в конце, и Феяс за стойкой, за две стены от неё, слышал, как она дышит: часто, мелко, с присвистом, как дышат не от страха — от решимости, которая страшнее страха.

Потом колокольчик прозвенел.

Звук был долгий и сладкий, с надрывом, — так колокольчик встречал тех, кто приходил за невозможным красиво. Дверь отворилась, пропустив клочок тумана и женщину, и

женщина вошла — вошла так, как входят на сцену: головой сначала, потом плечами, потом всем собой, — и остановилась посреди зала, и вуаль её, чёрная, точёная, как дым, качнулась и улеглась.

— Здравствуйте, — сказала она. Голос был низкий, выдержанный, с тем бархатным надломом, какой бывает у голосов, проживших свою лучшую жизнь вслух. — Мне сказали, что здесь возвращают.

Феяс посмотрел на неё поверх конторской книги — ровно, неподвижно, серыми миндалевидными глазами, в которых не отражалось ничего, кроме лампы, — и ответил то, что отвечал всем:

— Здесь продают. А что вы хотели купить?

Но до того, как колокольчик повернулся, был день — длинный, серый, лавочный день, и Феяс прожил его, как проживал все: по кругу.

Он обошёл лавку с утра, когда свет сквозь витрину ещё договаривался со стеклом, и вода в медном тазу за парчовой занавеской была так холодна, что обжигала, как обжигает не холод — внимание. Он мыл пол, и доски принимали воду молча, темнели, дышали, отдавали запах столетий, и Феяс двигался от стойки к двери, от двери к арке, и мысли его были ровными и серыми, как вода в ведре. Старик спустился с чайником, зелёным от времени, и сказал: «Сегодня придут. Колокольчик уже отпевает», — и Феяс не спросил, кого: он знал, что старик отвечает не на вопрос, а на воздух.

До вечера не случилось ничего, что можно было бы записать, — и именно это «ничего» Феяс любил больше всего, хотя слова «любил» у него не было, было другое: «не больно». В час, когда в зале стоял тот самый восковый, тяжёлый покой, в котором правда стоит дешевле обычного, старик сел напротив — на клиентский табурет, чего не делал никогда, — и сказал:

— Спроси.

Феяс шил переплёт — он перешивал книгу, которую развела не моль, а время, и нить его была вощёная, крепкая, как

нить, которой зашивают то, что не должно открыться. Он не поднял головы.

— Что спросить?

— То, что ты спрашиваешь глазами, когда думаешь, что я не вижу, — сказал старик. — Ты смотришь на полку. На верхнюю. На пустые места. Спроси.

Феяс протянул нить сквозь корешок, затянул, отрезал — ножницы были старые, с ручками в виде птиц, и резали они не щелчком, а вздохом, — и сказал:

— Почему там пусто?

Старик молчал так долго, что Феяс поднял голову. Старик смотрел не на него — сквозь него, в зал, на витрину, где за стеклом стоял туман, и в тумане не было ни фонарей, ни прохожих, ни города, — и лицо его, яблочное, чудаковатое, было в этот миг лицом человека, который вспомнил, где спрятал вещь, и обрадовался, и ужаснулся этому.

— Потому что полка старше меня, — сказал он. — И пустые места — не для будущих. Они для тех, чьи сферы уже стояли здесь, а потом... потом их забрали обратно. Такое бывает. Редко. Один раз на моей памяти. Сфера стояла, тёплая, в стекле, а потом — утром — пузырьёк был пуст, и стекло было холодным, и подпись под ним — я её не писал, мальчик мой, она была до меня — подпись истлела. Не стёрлась. Истлела, как истлевает письмо, которое слишком долго носят на груди. — Он повернулся к Феясу, и глаза его за железной оправой были мокрыми, как бывают мокрыми глаза у старых

собак. — Я не знаю, кто её забрал. Я знаю только, что место осталось. Полка не зарастает. Запомни это: место, откуда забрали душу, не зарастает. Оно ждёт. Всё в этой лавке ждёт, мальчик мой. Даже полки.

Феяс не спросил больше ничего. Он дошил переплёт, завязал узел — морской, двойной, такой, каким вяжут то, что должно держаться дольше верёвки, — и только тогда, когда старик уже поднялся и пошёл к чайнику, сказал в спину:

— А имя у неё было? У той сферы.

Старик остановился. Не обернулся.

— Было, — сказал он. — Я не читаю его вслух. Некоторые имена в этой лавке, мальчик мой, произносятся один раз. Второго раза они не переживают. — И уже у самой арки, тише, в шорох половиц: — Особенно если это имя того, кто стоял за стойкой до тебя.

Перед тем как колокольчик повернулся, Феяс стоял у своей двери.

Он делал это каждое утро — не подходил близко, нет; вставал в конце главного прохода, там, где полки кончались и начиналась «даль», и смотрел на прямоугольник более глубокой темноты, и не подносил свечу, потому что знал: пламя начнёт дрожать, как дрожит вода, когда по ней идёт что-то тяжёлое, невидимое глазу. Сегодня дверь была виднее обычного. Не ближе — виднее. Как бывает виднее лицо, которое долго смотрело на тебя из темноты, когда глаза привыкают.

Феяс стоял и смотрел, и думал то, что думал каждое утро: что за ней лежит ответ на вопрос, который он давно перестал себе задавать, — кто он, откуда пришёл, почему остаётся, — и что ответ этот, как всё, что дают двери, будет стоять ровно столько, сколько он не готов заплатить. Но сегодня — впервые — он подумал ещё кое-что. Он подумал: а что, если цена уже заплачена? Что, если он платит каждую ночь, каждый провод, каждую каплю крови на границе, — и дверь копит, как копит ростовщик, и ждёт, когда сумма станет достаточной, чтобы открыться самой?

Он не знал. Он записал это в конторскую книгу, мелко, после точки, для себя: «Дверь виднее. Может быть, я уже плачу. Может быть, она копит. Может быть, скоро откроется

сама».

А потом он вернулся в зал, и сел за стойку, и сложил руки на свежеподклеенной обложке, и стал ждать, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

Её звали Маргарет Вэйл, и когда-то — не так давно, как ей казалось, и давно, как было на самом деле, — её лицо висело над театральными подъездами в три человеческих роста. Феяс знал это не потому, что знал: лавка докладывала. Стоило клиенту переступить порог, как полки начинали нащёптывать — не словами, нет; запахами, скрипами, порядком теней, — и Феяс, стоя за стойкой, читал эти доклады, как читают следы на пыльной полке. Вот — пыль осела по-другому, кругами: значит, человек много ходил по сценкам, по подмосткам, по доскам, натёртым мелом и чужими судьбами. Вот — механическая птица в клетке повернула голову и не отвернулась: значит, человек привык, что на него смотрят. Вот — от женщины пахнуло, когда она прошла мимо стойки, — пудрой, старым гримом, холодным кремом и чем-то ещё, чем-то, что Феяс унюхал, но не сразу назвал: нафталином. Ею пахли вещи, вынутые из сундука. Ею пахло прошлое, которое хранили бережно и без пользы.

Она сняла перчатки — медленно, палец за пальцем, как снимают кожу, — и Феяс увидел её руки. Руки были старые. Лицо под вуалью было ещё ничего, грим, пудра, холодный крем, свет лавки был милосерден, — но руки выдавали её с головой: руки были старые, узловатые, в пятнах, похожих на карту страны, которой больше нет, и жилы на них стояли

высоко, как стоят корни в пересохшем саду. Она положила перчатки на стойку, на свежеподклеенную обложку, и сказала:

— Молодость.

Феяс молчал. Он никогда не переспрашивал сразу.

— Я хочу вернуть молодость, — сказала Маргарет Вэйл, и голос её, бархатный, надломленный, стал вдруг совсем простым, как становится простым голос человека, который решился наконец назвать болезнь. — Не вечную жизнь — я не дура, я видела, чем кончаются те, кто просит вечное. Молодость. Мою. Ту самую. У меня её отняли неправильно: не по годам, а по частям. Сначала отняли роли. Потом афиши. Потом зеркала — я перестала смотреться, знаете ли, два года назад, совсем, — а потом, вчера, — она усмехнулась, и усмешка была хороша, выученная, вылитая из меди старых аплодисментов, — вчера продавщица в лавке на Бонд-стрит назвала меня «мэм» и предложила стул. Мне. Маргарет Вэйл. Стул.

Она замолчала. Лавка слушала. Где-то глубоко, в библиотеке, в невозможной её дали, тихо, на полтона ниже слышимого, запела одна из дверей — первая слева, в раме из соли, — и Феяс, не поворачивая головы, отметил: дверь зеркал уже знает. Двери всегда знали заранее. Лавка любила, когда её ждали, — но двери любили больше.

— Плата заранее, — сказал Феяс. — Таковы правила.

— Сколько? — Она уже открывала сумочку — кожаную, с

ЗОЛОТЫМ ЗАМКОН, ИЗ ТЕХ СУМОЧЕК, ЧТО ПЕРЕЖИВАЮТ СВОИХ ХО-
ЗЯЕК.

— Не деньгами.

И тут, по ступеням, по перилам, по воздуху, вместе с от-
блеском лампы и запахом паяльника, спустился старик.

Он вошёл в зал, как входил всегда: сначала лампа, потом очки, потом он сам, — но сегодня Феяс заметил: старик шёл медленнее обычного и на полпути остановился, взглянул на Маргарет Вэйл поверх железной оправы, и лицо его, чудаковатое, яблочное, сделалось на мгновение таким, каким оно бывало редко — серьёзным, как дно.

— А, — сказал старик. — Вэйл. «Джувьетта», тысяча восемьсот... простите, тысяча девятьсот... — Он покачал головой, как качают головой, когда годы не встают на место. — Я видел. Стоял в галёрке. Вы упали на колени так, что у суфлёра зазвенели очки. Я плакал. Я был молод и плакал.

Маргарет Вэйл подняла на него глаза — и Феяс увидел, как она изменилась: не лицом, нет, лицо осталось при своём, — осанкой, спиной, шеей; она вся стала той, которой её помнили, — так встаёт по стойке старая лошадь при звуке рожка. — Вы видели меня? — спросила она тихо.

— Видел, — сказал старик. Он поставил лампу на стойку, и свет лёг между ними третьим собеседником. — И вот что я вам скажу, Маргарет Вэйл, — скажу раньше, чем возьму плату, потому что я не жестокий человек, я просто функция, а функция обязана предупреждать: то, что вы видели в себе тогда, в галёрке моих глаз, — не возвращается. Не потому, что нельзя. А потому, что оно не ваше. Молодость, которую

вы помните, — это не кожа и не кровь, мэм. Это глаза, которые на вас смотрели. Их не вернёшь. Их уже нет. Они умерли, уехали, ослепли, забыли. — Он говорил тихо, без нажима, и лавка слушала, и птица в клетке не шевелилась, потому что это была правда, а на правду она не пела. — Но вы пришли, и вы войдёте, — я вижу, вы уже вошли, — и потому я скажу вам то, что говорю всем, и вы послушаете, как слушают прогноз погоды, которому не верят.

Но сначала он рассказал ей о правилах — не списком, как сказал в зале, а по-настоящему, с тем, что стояло за каждым.

— Вы думаете, правила — это стены, — сказал старик. Он говорил тихо, и лампа на стойке дрожала, хотя сквозняка не было. — Нет, мэм. Правила — это шрамы. Каждое из них — от раны, которую лавка получила давно, раньше меня, раньше этих полок, может быть, — и каждый шрам болит, когда кто-то пытается его сорвать. Первое правило — плата заранее. Я видел, что бывает, когда платят после. Клиент вошёл, получил, вышел — и не заплатил. Дверь взяла сама. Не душу — душа уже не помещалась в него, он потратил её на желание, — а то, что осталось. Осталась оболочка. Он ходит по миру до сих пор, мэм. Он улыбается. Он работает. Он помнит, что у него была душа, и помнит, что она кончилась, и это единственное, что он помнит. Не завидуйте ему. Завидовать ему — всё равно что завидовать дому, в котором погас свет.

— Второе правило — ровно то, что попросили. Вы думаете, это щедро. Нет. Это точно. А точность страшнее жесто-

кости, потому что жестокость можно пережить, а точность — нет. Точность не оставляет места для «а что, если». Я видел человека, который просил «вернуть сына». Дверь вернула. Сын встал из могилы, пришёл домой, сел за стол, — и сидел, и улыбался, и не ел, и не спал, и не старел, и отец сидел напротив него и старел за двоих, и не мог умереть, потому что сын был «возвращён», а возвращённое не отпускает. Они сидят так до сих пор, мэм. В доме на окраине. Соседи говорят, что отец сошёл с ума. Соседи правы. Но не потому, что он видит сына. А потому, что он видит, что сын — не сын, а ровно то, что он просил, — и это ровность, эта точность, съедает его, как съедает кислота.

— Третье правило — кто вошёл снова после выхода, платит остатком. Это правило — не для вас, мэм. Вы не вернётесь. Вы породистая. Но я говорю его всем, потому что однажды — один раз на моей памяти — кто-то вернулся. Не клиент. Помощник. Тот, кто стоял за стойкой до... — старик запнулся, и в этой паузе Феяс услышал то, что не было сказано: «до тебя», — до того, кто стоит сейчас. Он вышел из лавки — ушёл, сбежал, не важно, — и вернулся. Через год. Через сто лет. Не знаю. Время здесь течёт иначе. Он вернулся, и дверь взяла остаток, и остаток этот был так мал, что его не хватило даже на пузырьрёк. Его хватило на... — старик замолчал, и лицо его стало таким, каким Феяс не видел его никогда: не старым, нет; древним. — Его хватило на то, чтобы лавка получила нового помощника. Мальчика, который

не помнит, кто он. Мальчика, который входит в двери и выходит один. Мальчика, которого двери не едят, потому что он уже — съеден. До дна. Давно.

Старик замолчал. Лампа дрожала. Маргарет Вэйл сидела неподвижно, и вуаль её не двигалась, и глаза её, старые, усталые, смотрели на старика, и в них было то, что Феяс видел редко: не страх, а жалость. Жалость к старику, который сказал больше, чем хотел, и теперь стоял, маленький, сутулый, с иглами седых волос, и не мог забрать свои слова обратно.

— Я не знал, — сказала Маргарет Вэйл тихо.

— Вы не должны были знать, — сказал старик. — Я не должен был говорить. Но вы — первая, кто спросил о правилах, как о правилах, а не как о препятствии. Поэтому я сказал. — Он повернулся к Феясу, и глаза его за железной оправой были в этот миг тем, чем были всегда, когда он смотрел на помощника: колодцем, в который давно никто не заглядывал. — Мальчик мой. Подготовь пузырьрёк. Янтарный, не гранёный. И салфетку — тканую, не ту, что с кистями.

Феяс пошёл в глубину, к третьему шкафу, и шёл ровно, неторопливо, и не оборачивался, и не показывал, что слышал, — потому что он слышал всё, и слышал то, что не было сказано, и знал теперь то, чего не знал утром: что он не первый. Что был другой. Что другой вернулся. И что дверь взяла остаток, и остатка хватило на него, на Феяса, — и что он, Феяс, есть то, что осталось от того, кто не выдержал того, что Феяс выдерживает каждую ночь.

Он взял пузырьёк. Янтарный, не гранёный. Он взял салфетку. Тканую, не с кистями. Он вернулся в зал, и лицо его было ровным, как всегда, и глаза его были серыми, миндалевидными, равнодушными, как витринное стекло, — и только старик, который знал его дольше, чем кто-либо, увидел, в этих глазах, на самом дне, там, где ничего не отражалось, появилось что-то новое. Не свет. Не тепло. Вопрос. Первый вопрос, который Феяс Ливрейз задал себе за все годы, если годы здесь считались.

Он обошёл стойку. Маргарет Вэйл не отступила — она стояла прямо, в своей вуали, в своём нафталине, в своей решимости, и старик, маленький, сутулый, рядом с ней был похож на сухую ветку рядом с обмёрзшим деревом.

— Правила, — сказал старик. — Их три для вас — из пяти; два вас не касаются, два касаются меня и мальчика, а три — ваши, и вы запомните их, как запоминают молитву, хотя молитвой они не являются. Первое: плата заранее. Часть души, треть весом, невозвратно. Вы будете жить — многие живут, — но что-то внутри вас отныне будет пустым, как комната, из которой вынесли пианино. Второе: дверь даёт ровно то, что попросили. Не больше. Не меньше. Формулируйте, Маргарет Вэйл, как пишут завещание: каждое слово будет исполнено, и только слово. Третье — старик понизил голос, и зал стал тише, и даже лампа, казалось, притихла, — третье: кто вошёл в лавку снова после выхода — платит остатком души. Запомните это, мэм. Когда выйдете — а вы выйдете,

у вас порода, — не возвращайтесь. Никогда. Что бы вам ни приснилось. Что бы ни забылось внутри. Что бы ни звало вас по имени из тумана. — Он помолчал. — Всё. Это все три. Теперь плату.

Маргарет Вэйл стояла неподвижно. Вуаль её не дрожала. Потом она спросила — и Феяс понял по вопросу, что она сильнее большинства:

— А если я попрошу вернуть не мою молодость, а глаза, которые смотрели?

Старик молчал долго. Потом сказал:

— Тогда вам придётся войти в другую дверь. И я не советую. Та дверь глубокого синего цвета, и она слушает наклонившись. Нет, мэм. Просите своё. Своё — оно хотя бы ваше.

— Хорошо, — сказала Маргарет Вэйл. — Берите плату.

3а

Старик не спешил с платой. Он никогда не спешил с платой — плата была единственным, что в лавке делалось медленно, с расстановкой, как делают то, что нельзя переделать.

Он велел Маргарет Вэйл сесть — не на табурет ещё, а на стул у стены, который появился там, где его не было, — и сам сел напротив, на край стойки, и сложил руки на коленях, как складывают руки те, кто собирается говорить долго и не хочет, чтобы его перебивали.

— Я сказал вам три правила, — сказал он. — Теперь я расскажу вам, откуда они. Не потому, что вы должны знать. А потому, что вы запомните лучше, если будете знать, чего они стоят. — Он помолчал, и лампа на стойке дрогнула, хотя сквозняка не было. — Первое правило — плата заранее. Оно не от жадности, мэм. Оно от того, что дверь, когда её открывают, берёт плату сама, и берёт она не треть, а всё, и не из души, а из того, что у человека остаётся, когда душа кончается. Я видел это один раз — когда был молод и думал, что правила для тех, кто слабее. Клиент вошёл, не заплатив. Дверь взяла его всего. Он вышел — да, вышел, он ходит по миру до сих пор, — но внутри у него пусто, как внутри у стакана, из которого выпили и поставили обратно. Он улыбается. Он работает. Он помнит, что у него была душа, и помнит, что она кончилась, и это единственное, что он помнит. Не

завидуйте ему. Завидовать ему — всё равно что завидовать дому, в котором погас свет.

— Второе правило — дверь даёт ровно то, что попросили. Вы думаете, это жестоко. Нет, мэм. Жестоко — когда дают больше. Больше — это когда просишь золото, а получаешь золото и ещё то, что ты имел в виду, но не сказал. Дверь не читает мыслей. Дверь читает слова. Если вы скажете «хочу, чтобы меня любили», дверь даст вам любовь — и не спросит, чью. Если вы скажете «хочу быть красивой», дверь даст вам красоту — и не спросит, для кого. Поэтому вы сейчас скажете мне свою формулировку, и мы её проверим, и проверим мы её не на доброту — на точность. Доброта здесь не валюта. Валюта здесь — точность.

— Третье правило — кто вошёл снова после выхода, платит остатком. Это правило старше меня, старше лавки, может быть. Оно от того, что дверь, выпустив человека, не отпускает его совсем: она держит нить, тонкую, как волос, и если человек возвращается, дверь тянет за нить и забирает остаток. Не потому, что злится. Потому, что не может иначе. Дверь — это рот, мэм. Рот не жуёт дважды. Рот глотает. — Он встал, подошёл к Маргарет Вэйл и посмотрел на неё сверху вниз, и взгляд его был не жестоким, а старым, как взгляд врача, который знает, что лекарство горькое, и не будет его подслащивать. — А теперь скажите мне вашу формулировку. Слово в слово. Как пишут завешание. Как пишут приговор. Как пишут то, что будет исполнено буквально.

Маргарет Вэйл сидела прямо, с руками на коленях, и вуаль её не дрожала, и голос её был ровным, как доска сцены:

— Я хочу вернуть молодость. Мою. Ту самую. Какая была, когда я была Маргарет Вэйл, а не мэм на Бонд-стрит.

Старик слушал, и слушал внимательно, как слушают музыку, в которой ищут фальшь.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Но слушайте: вы сказали «вернуть». Дверь услышит «вернуть». Она не услышит «надеть». Она не услышит «войти обратно». Она услышит только «вернуть», — и вернёт. А вернувшееся — оно не всегда помещается в том, кто просил. Иногда оно помещается по другую сторону. Вы готовы?

— Я готова, — сказала Маргарет Вэйл.

— Тогда платите, — сказал старик и сложил ладони ковшом.

Изъятие Феяс видел сотни раз, но от Маргарет Вэйл не отвёл глаз, потому что она не отвела.

Она села на табурет с витыми ножками, как садятся на стул в гримёрной: ровно, с привычкой к тому, что сзади кто-то стоит и делает с тобой работу. Старик встал перед ней, сложил ладони ковшом и закрыл глаза. Зал изменился — плотным стал воздух, внимательным, как в комнате, где умирают; механическая птица повернула голову; и дверь зеркал в глубине библиотеки запела громче, на полтона выше слышимого, и нота её была странная: не голодная, как у бронзовой двери в ночь Пламба, а ждущая, как поют часовые перед сменой караула.

Сначала было тихо. Потом стало тише, чем тихо, — так бывает в лавке, когда воздух собирается вокруг того, что сейчас произойдёт, как собирается вода вокруг камня перед тем, как потечь вокруг него. Феяс стоял с янтарным пузырьком в руке и смотрел — не на старика, нет; на Маргарет Вэйл. Он всегда смотрел на клиентов в этот момент. Он хотел видеть, как они это переживают, — не из жестокости, а потому, что это было единственное, что он мог для них сделать: быть свидетелем. Лавка не вела иных архивов, кроме него.

Маргарет Вэйл сидела на табурете с витыми ножками, прямая, как сидят на стуле в гримёрной, и не отводила глаз.

Старик стоял перед ней, сложив ладони ковшом, и закрыл глаза, и зал изменился — плотным стал воздух, внимательным, как в комнате, где умирают; механическая птица повернула голову; и дверь зеркал в глубине библиотеки запела громче, на полтона выше слышимого, и нота её была странная: не голодная, как у бронзовой двери в ночь Пламба, а ждущая, как поют часовые перед сменой караула.

А потом началось.

Сфера появилась между ладоней старика медленно — Маргарет Вэйл сопротивлялась; не сознательно, нет, она сидела смирно, — но душа её, старая, выдержанная, привыкшая держать форму перед публикой, не хотела расставаться со своей третью: она цеплялась, она тянулась нитями, серыми, тонкими, как тянутся нити старого грима от кожи, и старик тянул, и лицо его наливалось, и Феяс видел: ему тяжело. Всегда было тяжело, но сегодня — тяжелее. Душа актрисы была выучена наизусть, как роль, и не хотела уходить со сцены.

В дыме мелькнуло — Феяс читал, как читал всегда: вот рампа, ряд тёплых огней, и за ними темнота зала, дышащая, как один огромный зверь; вот — шёпот суфлёрской будки; вот — цветы, цветы, горы цветов у рампы, и в запахе лилий — запах пороха и краски; вот — молодое лицо в овальном зеркале гримёрной, и руки, её собственные, гладкие, без пятен, поправляют на нём кудри; вот — тот же овал зеркала, и лицо в нём другое, и руки, старые, узловатые, лежат на

подлокотниках предложенного стула, а продавщица говорит «мэм». Всё это мелькнуло, собралось, сжалось в тёплый восковой комок — и Феяс подставил янтарный пузырьёк, и старик переложил сферу в стекло, и сфера улеглась на дно, и огонёк в ней дрогнул и выровнялся.

Тёплая. Как все. Феяс прижал пузырьёк к груди — на мгновение, так что никто не заметил, — и почувствовал, как сфера дышит ему в кость, и подумал без слов: у этой внутри всё ещё играют спектакль.

Маргарет Вэйл сидела бледная, но прямая. Она подняла руку — старую, узловатую, — к вуали, поправила её, и сказала голосом ровным, как доска сцены:

— Ну. Я готова. Где моя молодость?

— За аркой, — сказал старик. Он отирал лоб, и руки у него дрожали, но голос был деловой, хозяйский. — Мой помощник проводит вас. Мальчик мой. — Он повернулся к Феясу, и глаза его за железной оправой были в этот миг тем, чем были всегда, когда начиналась дорога: колодцем, в который давно никто не заглядывал. — Возьми ключи. Первую слева. И помни: ты провожаешь, ты открываешь, ты входишь, ты выходишь. Она — нет. Она остаётся столько, сколько понадобится двери.

— Понимаю, — сказал Феяс.

Он сказал это спокойно, потому что это была его работа, и он делал её сотни раз: проводить. Открыть. Войти вместе. Выйти одному. Снова встать за стойку. В этом и состояла его

жизнь, если то, что он делал, можно было назвать жизнью: он был единственным, кто входил в двери и возвращался, — и он давно перестал спрашивать почему, потому что знал: ответ стоит за той, седьмой, которой нет.

Он снимал ключи с кольца по одному — никогда все сразу, — и каждый раз, когда он это делал, в нише за стойкой, где дерево почернело вокруг крюка, как чернеет вокруг старой раны, что-то менялось: воздух становился другим, чуть более плотным, чуть более внимательным, и Феяс знал: лавка слушает. Лавка всегда слушала, когда он брал ключи. Потому что ключи были не инструментом — они были паролем, и пароль этот произносился не вслух, а рукой, и рука эта должна была быть той самой, и никакой другой.

Однажды — Феяс помнил это, хотя не помнил, когда это было, — ключи не послушались. Он взял соляной ключ, и ключ лёг в ладонь холодный, мёртвый, чужой, и Феяс стоял с ним у двери зеркал, и дверь не открывалась, и в зеркале, в глубине, вместо отражения стояло что-то, что смотрело на него не с ожиданием, а с отказом, — и Феяс вернулся к стойке, и положил ключ на крюк, и сказал старику: «Не сегодня», — и старик кивнул, как кивают докладу о погоде, и сказал: «Значит, не сегодня. Значит, дверь ждёт другого». И клиент тот — Феяс не помнил его лица, помнил только, что он пах снегом, — ушёл, и больше не приходил, и колокольчик, когда он выходил, прозвенел ему вслед жалобно, как звенят о том, что не случилось.

Ключи слушались не всегда. Ключи выбирали. И Феяс,

снимая с кольца соляной ключ, всякий раз ждал: послушается ли. Сегодня ключ был тёплым, сухим, как кость на солнце, и лёг в ладонь легко, как ложится в ладонь то, что уже давно знает дорогу.

Ключи висели в нише за стойкой, на крюке, вбитом в дерево так давно, что дерево вокруг него почернело, как чернеет вокруг старой раны.

Их было шесть на кольцо — седьмого ключа не существовало, — и каждый был своим: ключ от двери зеркал был длинный, белый, из той же спрессованной соли, что и рама, и на ощупь он был сухим и тёплым, как кость, пролежавшая сто лет на солнце; ключ от бронзовой двери был тяжёлым и всегда чуть липким, как монета из чужого потного кулака; ключ от двери глубокого синего был холодным всегда, даже летом, даже у огня, и Феяс брал его только за бородку, потому что кольцо его обжигало, как обжигает не холод — внимание. Сегодня он снял с кольца первый, белый, соляной, и ключ лёг в его ладонь легко, как ложится в ладонь то, что уже давно знает дорогу.

— Идёмте, — сказал Феяс.

Он взял свечу — новую, в жестяном подсвечнике с отогнутой ручкой, — и пошёл к арке, не оглядываясь: он знал, что Маргарет Вэйл пойдёт следом. Они всегда шли следом. За ним, за его пепельной макушкой, за его траурным костюмом, шли через библиотеку все, кто платил, — и он вёл их, как ведут по минному полю: не быстро, не медленно, ровно,

и никогда — он помнил это так же твёрдо, как правила, — никогда не оборачивался, пока они шли, потому что однажды, очень давно, он обернулся, и человек, который шёл за ним, уже не шёл: человек стоял у полки, лицом к корешкам, и читал их, как читают могильные плиты, и звали его потом, звали, а он не отвечал, и пришлось старику идти и забирать его, и старик вернулся седой — нет, седее, — и неделю не напевал.

Библиотека встретила их своим обычным дыханием: пыльным, медленным, чуть сладковатым. Маргарет Вэйл за спиной Феяса ахнула — тихо, профессионально, как ахала когда-то галёрка, — потому что библиотека не имела права существовать и существовала: стеллажи уходили вверх и вдаль, за пределы свечи, за пределы разумного, и в вышине, в недостижимых ярусах, что-то шевелилось, перетекало с полки на полку, и Маргарет Вэйл, подняв голову, увидела в темноте две маленькие светящиеся точки — не глаза, нет: глаза бы моргали, — и быстро опустила голову.

— Не смотрите туда, — сказал Феяс, не оборачиваясь. — Они принимают взгляд за приглашение.

— Кто? — спросила она.

— Незваные гости, — сказал Феяс. — Застряли между мирами. Как рыба в трюме. Не опасны, если не смотреть и не отвечать, когда окликнут. Вас они могут окликнуть. У вас есть знакомые голоса.

— А тебя? — спросила Маргарет Вэйл, и в голосе её впер-

вые прозвучало что-то похожее на интерес не к себе.

Феяс шёл молча несколько шагов. Потом сказал:

— У меня нет знакомых.

Они прошли ряд Г, ряд Д, ряд Е. Полки со сферами светились им навстречу слабым, ровным, пепельно-янтарным светом, и Маргарет Вэйл, проходя мимо, вдруг остановилась — Феяс услышал, как остановились её шаги, и сам остановился, не оборачиваясь, — и сказала тихо:

— Это они? Души?

— Части, — сказал Феяс. — Третью весом.

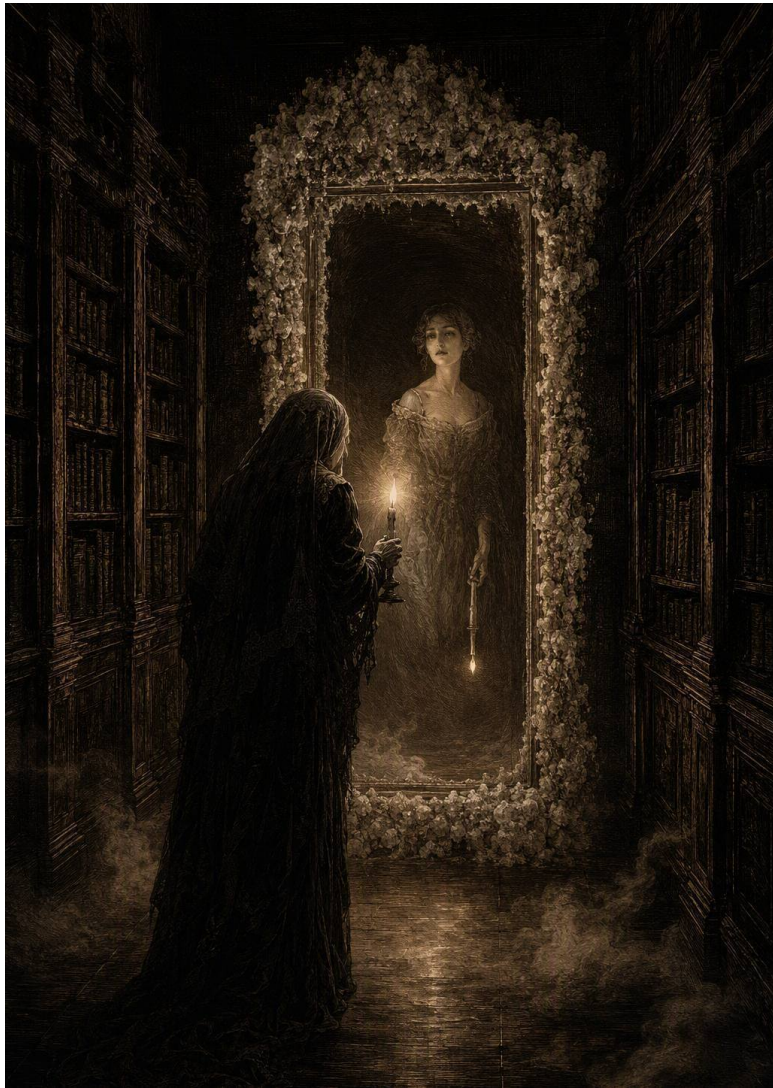
— И сколько их здесь?

— Не знаю, — сказал Феяс. — Старик перестал считать, когда понял, что счёт их делает его. Сосчитанное — присвоенное.

Маргарет Вэйл молчала. Потом — Феяс услышал — она сделала то, чего не делал никто из клиентов: протянула руку и прикоснулась кончиками пальцев к стеклу одного из пузырьков, осторожно, как прикасаются к стеклу зимней витрины, за которой лежит то, что тебе не по карману. Пузырёк отозвался: огонёк внутри качнулся к её пальцам, как к теплу, — и Маргарет Вэйл отдернула руку и перекрестилась, впервые, наверное, за сорок лет.

— Они живые, — сказала она.

— Они тёплые, — поправил Феяс. — Это не одно и то же. Идёмте. Дверь не любит ждать, хотя умеет.



Дверь зеркал

По дороге Феяс не оборачивался, но знал: за ними идут.

Не тварь из-под двери — та ещё спала, ещё не чуяла остатка, — а другие, пыльные, верхнеярусные, те, что жили между мирами и застряли, как застревает рыба в трюме. Они шли следом, на высоте, в темноте, где кончался свет свечи, и шли не по полу — по полкам, по корешкам, по пыли веков, и пыль под ними не вздымалась, а умирала. Феяс слышал их — не ушами, костями: тихое, суставчатое шевеление, как шевелятся пальцы, которым долго не давали работы. Они шли следом, потому что Маргарет Вэйл была тёплой, и сфера её, уже вынутая, уже в пузырьке, уже за пазухой у Феяса, светилась сквозь сукно, как светится уголёк сквозь пепел, — и они шли на это тепло, как идут на окно, за которым горит чужой очаг.

— Не оборачивайтесь, — сказал Феяс тихо. — Они идут за нами. Не за мной — за вами. За вашим теплом. Если обернётесь, они примут это за приглашение.

— А если я не обернусь? — спросила Маргарет Вэйл. Голос её был ровным, но Феяс слышал: она держит его, как держат ноту, которую нельзя сорвать.

— Тогда они пойдут за нами до двери и останутся. Они не могут войти. Двери их не пускают. Двери пускают только тех, кто платит, — и тех, кто проводит.

— А ты платишь?

Феяс не ответил сразу. Они прошли ряд Ж, ряд З, ряд И, и полки со сферами светились им навстречу слабым, ровным, пепельно-янтарным светом, и сферы, когда Феяс проходил мимо, чуть поворачивались, как поворачиваются вслед подсолнухи, — не к свету, нет: к теплу. К нему. К единственному, кто ходил между ними и молчал, как молчали они.

— Я плачу по-другому, — сказал он наконец. — Я плачу тем, что выхожу. Каждый раз. Один. Это дороже, чем кажется, мэм. Выйти одному — это не значит спастись. Это значит вернуться и снова встать за стойку, и ждать следующего, и знать, что следующий тоже не выйдет, и что ты снова выйдешь один, и что это не кончится, потому что лавка не кончается, а ты — часть лавки, и ты тоже не кончаешься. — Он помолчал. — Простите. Я не должен был говорить. За дверями молчат.

— Нет, — сказала Маргарет Вэйл тихо. — Говори. У тебя голос, как у колокольчика, когда он звенит не для всех. Говори.

Но Феяс больше не говорил. Он шёл, и свеча его горела ровно, и твари в верхних ярусах шли следом, и сферы поворачивались к нему, и библиотека дышала, и всё это было его жизнью, если то, что он делал, можно было назвать жизнью.

Дверь зеркал ждала их в конце главного прохода, первая слева, и встретила свечу Феяса тем, что отразила её триста раз: полотно двери было сплошным зеркалом от порога до

темноты, и в нём, в этой вертикальной воде, стояли двое — мальчик в траурном костюме со свечой и женщина в вуали, — и отражения их были правильными, ровными, и только пламя свечи в зеркале горело не так: оно горело вниз, языком к блюду, как горит отражение в настоящей воде.

Маргарет Вэйл подошла ближе и вздрогнула — впервые за весь вечер.

— Я, — сказала она.

В зеркале стояла она. Но не та, что стояла перед ним: в зеркале стояла Маргарет Вэйл двадцати с небольшим лет, с лицом, которое когда-то висело над театральными подъездами, с шеей, как у лебедя на старинной гравюре, с глазами, в которых плавали огни несыгранных ролей. Молодая отражённая Маргарет смотрела на старую настоящую — и не улыбалась. Смотрела ровно, с тем профессиональным вниманием, с каким актриса смотрит на своё фото в программке: узнавая и оценивая.

— Это она? — спросила Маргарет Вэйл, и голос её стал тонким, как струна. — Это будет... так?

— Дверь даёт ровно то, что попросили, — сказал Феяс. Он стоял сбоку от зеркала, вне его поля, — он никогда не вставал перед дверью зеркал, с тех самых пор, как его отражение однажды осталось стоять, когда он отвернулся. — Вы просили молодость. Вы её получите. Но слушайте меня внимательно, мэм, потому что старик говорил правила, а я скажу порядок. Я открою дверь. Я войду с вами — это моя работа.

То, что будет там, — будет с вами. Я не могу мешать. Это не потому, что я жестокий. Это потому, что дверь слышит, и если я скажу там лишнее, она исполнит и моё тоже. Молчание за дверью — единственная милость, которую я могу вам оказать.

Маргарет Вэйл повернулась к нему. Вуаль её качнулась. И Феяс увидел — в третий раз за вечер — что она сильнее большинства: она смотрела на него не как на мальчика, не как на слугу, а как на то, чем он был: на проводника, который вернётся, когда она не вернётся, — и в глазах её, старых, усталых, с драгоценным надломом, стояло то, что Феяс видел редко: не страх перед дверью, а жалость к нему.

— Бедный мальчик, — сказала Маргарет Вэйл тихо. — Ты ведь каждый раз выходишь один.

Феяс не ответил. Он взял соляной ключ — сухой, тёплый, как кость на солнце, — и вложил его в замок, которого не было видно: замок в двери зеркал открывался в отражении, и Феяс повернул ключ, глядя не на дверь, а в её полотно, туда, где в зеркальной глубине поворачивалась невидимая скважина. Что-то внутри двери щёлкнуло — мягко, как щёлкает закрывающийся медальон.

Дверь зеркал открылась — внутрь, бесшумно, и за ней не было комнаты: за ней было зеркало ещё одно, и ещё, и ещё, коридор из зеркал, уходящий в серебряную даль, и в каждом стояла молодая Маргарет Вэйл, и каждая была чуть моложе предыдущей, и самая дальняя, маленькая, едва различимая,

была совсем девочкой, и все они смотрели на порог, на старую женщину в вуали, и не улыбались.

— Прошу, — сказал Феяс и отступил в сторону, пропуская её первой, как полагалось: клиент входит первым, проводник — следом, таков был порядок, и порядок был крепче стен.

Маргарет Вэйл подняла подол — жестом, которому её учили сто лет назад, в театральной школе, которой давно не было, — и шагнула через порог.

Феяс вошёл следом. Свеча его погасла на пороге — в коридоре зеркал гореть было нечему, — и дверь за ними закрылась, мягко, как закрывают дверь в комнату, где спят.

Внутри двери зеркал было холодно — не морозно, а по-зеркальному: холод этот не забирал тепло, он его отражал.

Сначала они шли молча. Потом молчание стало невозможным — не потому, что кто-то заговорил, а потому, что коридор начал говорить сам.

Зеркала по обе стороны не были пусты. В каждом стояла Маргарет Вэйл — молодая, молодая, молодая, — но не все стояли смирно. В некоторых — Феяс видел это краем глаза, не поднимая головы, — молодые Маргарет двигались не так, как двигалась настоящая: они поворачивались, они склоняли головы, они поднимали руки — не к лицу, нет; к стеклу, изнутри, и стучали. Тихо. Вежливо. Как стучат в окно те, кто знает, что им не откроют, но стучат из привычки, из вежливости, из того, что осталось от надежды. И в каждом таком зеркале, за молодой Маргарет, в глубине, в серебряной воде, стояло что-то ещё — тонкое, суставчатое, белое, — и смотрело на стук, и ждало.

— Не смотрите, — сказал Феяс. — Не отвечайте. Не стучите в ответ.

— Я не стучу, — сказала Маргарет Вэйл, и голос её был ровным, но Феяс слышал: она держит его, как держат ноту, которую нельзя сорвать. — Это они стучат. Все мои роли. Все мои лица. Они стучат, потому что знают: я уйду, а они

остаются. Они всегда остаются, мальчик. Актриса умирает — роли остаются. Вот почему я не боюсь. Я иду туда, где я — одна. А они пусть стучат. Пусть знают, каково это — остаться.

Она шла быстрее, и Феяс шёл следом, ровно, не ускоряясь, и зеркала стучали, и в глубине их, в серебряной воде, белые суставчатые твари прижимались к стеклу изнутри, распластывались, как распластывается о стекло аквариумная тварь, и показывали свои лица — похожие на лица, как похожа на лицо маска, слепленная из чужих пальцев, — и Феяс не смотрел, и Маргарет Вэйл не смотрела, и коридор зеркал шёл с ними, и стучал, и ждал.

Коридор уходил вдаль, и вдаль эту нельзя было измерить, потому что каждое зеркало содержало все остальные, и глаз, пытаясь сосчитать глубину, срывался, как срывается взгляд с бесконечной лестницы в двух поставленных друг против друга стёклах. Света здесь не было — и всё было видно: зеркала светились сами, мертвенно, слабо, серебром под водой, и в этом свете Маргарет Вэйл шла вперёд, а Феяс шёл следом, и по обе стороны от них, в тысячах стёкол, шли тысячи Маргарет Вэйл — молодых, молодых, молодых, — и все они шли не в ногу. Каждая запаздывала на свой волос, на свой вздох, на свою долю секунды, и от этого весь коридор, вся эта серебряная кишка, казалась живой, дышащей, гофрированной, как жабры невозможной рыбы.

Феяс шёл и смотрел себе под ноги. Это было правило, ко-

торого не было в правилах, но которое он выучил раньше всех правил, — в самый первый свой провод, когда ещё не знал, что умеет то, чего не умеют другие: в дверях не смотри по сторонам дольше, чем смотришь под ноги. Миры за дверями были не злы — Феяс давно это понял, — они были точны; они исполняли, и в исполнении не было места состраданию, как нет его в исполнении приговора, — и потому они красились. Каждый мир надевал своё лучшее платье. Дверь цвета старой бронзы надела синие своды и тёплые холмы. А коридор зеркал надел её, Маргарет Вэйл, тысячу раз, и шёл рядом с ней, и не спешил.

— Они все — я, — сказала Маргарет Вэйл. Голос её в коридоре звучал дважды: один раз — здесь, и один раз — из всех зеркал сразу, с запозданием, с отзвуком, и от этого казалось, что говорит не одна женщина, а хор. — Все до одной. Вот эта — «Ромео», первый сезон, я в этот год сломала ногу и сыграла три спектакля на переломе. Вот эта — «Леди Макбет», смотри, мальчик, смотри, вот эта шея, я её потом сорок лет укутывала от сквозняков, а она вот она, стоит себе. А вот эта... — Она остановилась. — Вот эта я не помню.

Феяс, глядя под ноги, видел — по отражениям в полу, потому что пол здесь был тоже зеркальный, — видел, куда она смотрит: в зеркало слева, третье от поворота, которого не было. В нём стояла девочка лет двенадцати, не больше, в простом ситцевом платье, босая, с растрёпанными кудрями, и смотрела она не на Маргарет Вэйл, а куда-то мимо, в сторо-

ну, с тем выражением, с каким смотрят в окно, за которым уходит поезд.

Между тем коридор не был пуст.

Феяс знал это — знал не глазами, а тем чувством, каким знают о присутствии в доме, где никого не должно быть: по тому, как ведёт себя воздух. Воздух в коридоре зеркал был ровный, мёртвый, отражающий, — и в нём, в этой ровности, была складка. Что-то шло впереди них, между стёклами, не по полу — по отражениям; оно передвигалось в глубине зеркал, из одного в другое, как передвигается тень по воде, и Феяс видел его краем глаза: быстрое, суставчатое, белое, — то самое, что потом, в библиотеке, будет иметь много коленей и глазки, как у варёной рыбы. Оно шло впереди и ждало. Оно знало, что в конце коридора будет остаток, — в дверях всегда оставался остаток, — и оно шло к нему, как идёт к столу та, что ест то, что падает.

— Не смотрите в зеркала подолгу, — сказал Феяс Маргарет Вэйл. — Не в те, что глубокие. В мелкие можно. В глубокие — нет.

— Почему?

— Потому что там смотрят, — сказал Феяс. — Не отражения. То, что за ними. Зеркала здесь не плоские, мэм. Они как окна в аквариуме: вы смотрите внутрь, а внутри — смотрят наружу. И у них... — он подобрал слово, — у них бывают аппетиты.

Маргарет Вэйл послушалась. Она шла, глядя прямо, и

только раз — Феяс слышал — вздрогнула, когда в одном из зеркал, глубоко, как колодец, что-то белое и быстрое метнулось к самой поверхности стекла и прижалось к нему изнутри, распласталось, как распластывается о стекло аквариумная тварь, и на мгновение показало ей своё лицо: оно было похоже на лицо, как похожа на лицо маска, слепленная из чужих пальцев, — и Маргарет Вэйл отвернулась и пошла быстрее, и Феяс пошёл следом, ровно, не ускоряясь, потому что ускоряться было нельзя: коридор считал спешку за страх, а страх — за вкус.

— Это не роль, — сказала Маргарет Вэйл медленно. — Это... это я до того. До сцены. Я забыла её. Я совсем её забыла. Она...

— Не подходите, — сказал Феяс.

Он сказал это ровно, не повышая голоса, потому что голос здесь нельзя было повышать: коридор зеркал собирал звук, как собирает свет, и крик здесь становился тысячей криков, а тысяча криков в месте, где всё отражает, могла разбудить то, что спало между стёклами. Маргарет Вэйл послушалась — остановилась, хотя уже подняла руку.

— Почему? — спросила она, и в голосе хором прозвучала обида.

— Потому что она не вы, — сказал Феяс. — Она то, что от вас осталось по эту сторону стекла. Здесь всё наоборот, мэм. В мире вы носите отражение внутри. Здесь отражения носят вас. — Он помолчал, подбирая слова, — он редко говорил

за дверями, и слова приходили к нему здесь медленно, как приходят в гору. — Вы просили молодость. Дверь приготавила. Но молодость нельзя надеть, как платье: она не лежит в шкафу. Её можно только... поменять местами. Как в зеркале. Одна сторона выходит. Другая остаётся.

Маргарет Вэйл смотрела на него. В тысяче зеркал тысяча молодых Маргарет повернули головы — все, кроме босоногой девочки, которая смотрела в окно, которого не было.

— Ты знал, — сказала Маргарет Вэйл. Не спросила — сказала. — Ты знал, когда вёл меня.

— Я знал, что дверь исполнит ровно, — сказал Феяс. — Как — не знал. Я никогда не знаю как. Это милосердие дверей, мэм: они каждый раз придумывают заново. — Он впервые за весь путь поднял глаза от пола и посмотрел на неё — прямо, серыми, миндалевидными, рыбьими глазами, и в этих глазах, равнодушных, как витринное стекло, Маргарет Вэйл вдруг увидела то, чего не видела ни в одном зеркале коридора: её отражение, маленькое, настоящее, старое, в вуали. Он единственный здесь отражал её настоящей. — Но вы ещё можете вернуться. До конца коридора — можно. После конца — нет. Там порог второй. Вы его не увидите, он из света. Переступите — и всё.

— А за ним?

— За ним — то, что вы просили. Молодость. Вы будете молодой, мэм. Такой, какая стоит вот в этих стёклах. Вы выйдете в мир — в мир выйдете. — Феяс помолчал. — Не я

знаю это. Дверь поёт это. Я выучил их песни, как вы учили роли.

— А цена? — спросила Маргарет Вэйл тихо. — В чём цена, мальчик? Плата-то взята.

— Плата взята за вход, — сказал Феяс. — А цена — она всегда в конце коридора. И она не моя и не старикова. Она ваша. Вы её с собой принесли, ещё с Бонд-стрит. — Он снова посмотрел под ноги. — Идите. Я провожу до порога. Дальше — нельзя. Дальше дверь считает сама.

Конец коридора выглядел как его начало: зеркала, зеркала, зеркала, серебро под водой. Но Феяс видел — он всегда видел, отсюда его работа: за последним зеркалом стоял свет, и свет этот был живой, тёплый, янтарный, похожий на свет лампы, — и Маргарет Вэйл увидела его тоже, и остановилась, и дышала, и вся она, от вуали до туфель, тянулась к этому свету, как тянется к огню озябший.

— Там сцена, — сказала она. — Мальчик, там сцена. Я слышу. Там... шумит зал.

Феяс ничего не слышал — ему никогда не слышалось то, что слышалось им, в этом тоже состояла его работа: слышать только двери, — но он кивнул. Он верил. Дверь давала ровно то, что просили, а просила Маргарет Вэйл — Феяс понял это теперь, в конце коридора, поздно, как понимал всегда, — просила она не кожу и не кровь: она просила зал. Глаза, которые смотрят. Темноту, которая дышит. Молодость была только формой — старик был прав, старик всегда был прав, в этом состояла его функция, — а содержанием была публика.

— Мэм, — сказал Феяс. — Последнее. Помощник не лжёт клиентам — это четвёртое правило, и оно моё, и я держу его даже здесь, где ложь — строительный материал. Я не знаю, будет ли вам там хорошо. Я знаю только, что будет ровно то, что вы просили. Не больше. — Он помолчал. — Зерка-

ло здесь — не стекло. Здесь стекло — кожа. Кто выходит из зеркала, выходит отражением: он в мире, но он не в мире, он по ту сторону того, что люди трогают. Вас будут видеть. Вами будут восхищаться. Вас не смогут... — он подобрал слово, простое, как камень, — потрогать. Вы будете прекрасны, мэм. И за стеклом.

Маргарет Вэйл стояла, глядя на свет. Шум зала — Феяс теперь и сам слышал, или ему казалось, — вставал за последним зеркалом, как встаёт море за дюной.

— За стеклом, — повторила она. — Молодая. За стеклом. Как картина. Как... афиша. — Она вдруг усмехнулась, и усмешка была та самая, медная, отлитая из сорока лет аплодисментов. — Знаешь, мальчик, что самое смешное? Я всю жизнь к этому и шла. Висеть над подъездом. В три человеческих роста. Нетронутой. — Она поправила вуаль, расправила плечи, и Феяс увидел: она делает вход, последний, на сцену, которую ей приготовила дверь. — Сорок лет я боялась, что меня забудут. Теперь меня будут помнить вечно — вот в этих стёклах, в каждой луже, в каждом окне. Ты прав: ровно то, что просила. Я просила вернуть молодость. Она вернулась. То, что вернувшаяся молодость — это я, а я — больше не я... — она пожала плечами, королевски, — это уже пункт. У двери, как у хорошего драматурга: всё решает пункт.

Она повернулась к Феясу. В тысяче зеркал повернулись тысяча её.

— Скажи старику, — сказала Маргарет Вэйл, — что зрительница из него была лучше, чем из всех, кто сидел в креслах. Галёрка плачет честнее. — Она помолчала. — А тебе, проводник, скажу то, что не скажет никто из тех, кого ты ещё проведёшь: мне не жаль. Слышишь? Запомни моё лицо таким, старым, — ты умеешь помнить, я вижу, ты весь, как конторская книга. Помни: одна была, которой не жаль.

Она шагнула к последнему зеркалу — к свету, к шуму зала, к порогу из света, которого Феяс не мог переступить, — и на границе его, на самой черте, обернулась ещё раз, уже не к Феясу, а к третьему зеркалу слева, где стояла босая девочка в ситцевом платице и смотрела мимо, в окно, которого не было.

— И ты иди, — сказала Маргарет Вэйл ей тихо. — Смотри. Смотри же, глупая. Там уходит поезд.

И переступила.

На пороге из света стояла кровь.

Не лужа — граница. Тонкая, как волос, красная, как кад-ка с вином, она шла по полу коридора, от зеркала к зеркалу, и пересекала проход там, где кончался свет и начиналось то, что дверь считала своим. Феяс увидел её раньше, чем Маргарет Вэйл, — он всегда видел границы раньше, в этом тоже состояла его работа, — и остановился, и поднял руку, и Маргарет Вэйл остановилась, глядя на свет, на рампу, на зал, который шумел за последним зеркалом, как шумит море за дюной.

— Что это? — спросила она.

— Цена, — сказал Феяс. — Не плата. Цена. Плата взята. Цена — здесь. Каждая дверь берёт её по-своему. Эта — кровью. Не вашей. Моей.

Он достал из кармана нож — маленький, с костяной ручкой, который старик дал ему давно, сказав: «Для дверей. Не для людей», — и провёл лезвием по ладони, по той самой, на которой уже остался рисунок, похожий на букву. Кровь пошла сразу — тёмная, тяжёлая, медленная, как идёт мёд, — и Феяс капнул её на границу, на красную нить, и нить вспыхнула, как вспыхивает фитиль, и погасла, и на её месте осталась полоса света, шире, чем была, — проход.

— Зачем? — спросила Маргарет Вэйл. Она смотрела на

его ладонь, на кровь, которая уже останавливалась, уже за-
тягивалась, уже заживала, — и в глазах её, старых, усталых,
с драгоценным надломом, стояло то, что Феяс видел редко:
не ужас, а понимание.

— Чтобы вы прошли, — сказал Феяс. — Дверь берёт пла-
ту за вход — душой. А за проход — кровью проводника.
Таков порядок. Он старше меня. Он старше старика. Он —
часть договора, по которому я вхожу и выхожу. Я плачу за
вас, мэм. Чтобы вы не платили дважды.

— А ты? — спросила Маргарет Вэйл тихо. — Ты-то вый-
дешь?

— Я всегда выхожу, — сказал Феяс. — Я единственный,
кто выходит. Поэтому я плачу кровью, а не душой. Душа
у меня... — он помолчал, подбирая слово, — уже занята.
Дверь, которая её взяла, ждёт меня в конце. Она не отдаст
меня другим. Она бережёт. Как берегут то, что уже своё.

Он отступил в сторону, пропуская её к проходу, и Марга-
рет Вэйл подняла подол — жестом, которому её учили сто
лет назад, — и шагнула через границу, через полосу света,
и на мгновение, на один только миг, кровь Феяса на полу
вспыхнула снова, и в этой вспышке он увидел: граница не
исчезла. Она перешла. Она встала за Маргарет Вэйл, отрезая
путь назад, и стала стеной, и стена эта была из света, и свет
был крепче стекла, крепче кости, крепче всего, что люди зо-
вут невозможным.

— Иди, — сказала Маргарет Вэйл, уже по ту сторону, уже

в янтаре, уже молодая, — и голос её был звонок, и чист, и мёртв, как звонок хрустали. — Иди, мальчик. И помни: одна была, которой не жаль.

Феяс стоял по эту сторону границы и смотрел, как она уходит в свет, в рампу, в зал, который смотрел и не слушал, — и кровь на его ладони уже зажила, и рисунок на коже стал чуть глубже, чуть яснее, и буква, которой не было в алфавите, стала чуть ближе к тому, чтобы быть прочитанной.



Две Маргарет по разные стороны стекла

Феяс стоял и смотрел — это была его работа: смотреть до конца.

На пороге Феяс сделал то, чего не делал никогда раньше: он задержался.

Не надолго — на вздох. Но за этот вздох он увидел то, что не полагалось видеть проводнику, — то, что дверь показывала только тому, кто платил кровью. На границе света, там, где кончался коридор и начиналось то, что дверь считала своим, стояла не одна Маргарет Вэйл. Их было две. Одна — старая, в вуали, с узловатыми руками, с лицом, которое помнило Бонд-стрит, — шла вперёд, к рампе, к залу, к молодости. Другая — молодая, с шеей лебедя, с глазами, полными несыгранных ролей, — шла назад, вглубь зеркала, в серебряную воду, и вуаль её развевалась без ветра. Они шли навстречу друг другу, и на границе, на самой черте, они встретились — и на мгновение, на один только миг, Феяс увидел, как старая Маргарет Вэйл посмотрела на молодую, и молодая на старую, и в этом взгляде не было ни зависти, ни жалости, ни прощания — было узнавание, полное и окончательное, как узнавание в зеркале: «это я. это я. это я».

А потом старая шагнула в свет, и молодая шагнула в стекло, и граница за ними сомкнулась, и Феяс остался по эту сторону, с пустыми руками, с зажившей ладонью, с рисунком

на коже, который стал чуть глубже, чуть яснее, — и дверь зеркал запела, тихо, сытно, и умолкла.

Порог из света принял её, как принимает вода ныряльщицу: без брызг, с одним ровным вздохом. На мгновение её силуэт стоял в свете — высокий, прямой, — и свет проходил сквозь него, как проходит сквозь стекло, а потом силуэт заполнился, налил, стал юным, и Феяс увидел её — все увидели, весь коридор зеркал увидел: Маргарет Вэйл двадцати лет, с шеей лебедя на старинной гравюре, с глазами, полными несыгранных ролей, стояла по ту сторону, в тёплом янтаре, и за её спиной вставал, шумел, дышал зал, которого не было, — темнота, полная глаз.

Она подняла руку — поклон или прощание, Феяс не разобрал.

А потом коридор зеркал дрогнул, весь, от порога до дальней двери, — как дрожит стекло от шага тяжёлого, — и началось то, ради чего Феяс оставался всегда последним и отчего руки его, холодные всегда, становились холоднее: дверь забирала своё. Из зеркал, из тысяч стёкол, из серебряной глубины, в которой только что стояли тысячи молодых Маргарет, потянулись — нет, не руки: отражения рук, плоские, серебряные, — и старое, то, что Маргарет Вэйл оставила на пороге, её годы, её пятна, её узловатые пальцы, её надломленный бархатный голос, — всё это не исчезло, нет; дверь не уничтожала; дверь сохраняла. По ту сторону последнего зеркала, вглубь стекла, от рампы, от зала, уходила, уходила

вглубь зеркальной воды маленькая старая женщина в вуали, и шла она не сопротивляясь, и вуаль её развевалась, хотя ветра в стекле не бывало, и губы её шевелились, и Феяс, умевший читать по губам — ещё одно, чему научила его лавка, — прочёл беззвучное: «смотри, глупая».

За стеклом мира стояла теперь молодость Маргарет Вэйл — молодая, нетронутая, в три человеческих роста над всеми подъездами мира. А в стекле, в глубине, в серебряной воде, уходила старость — живая, прямая, помнящая.

Ровно то, что просили. Не больше. Не меньше.

Он видел ещё одно — то, что не полагалось видеть проводнику, но что дверь показывала ему всякий раз, как показывают работнику последствия его работы.

По ту сторону, в янтарном свете, молодая Маргарет Вэйл шла к рампе. Зал шумел. Темнота дышала. Она подняла руку — и Феяс увидел, как сквозь её пальцы, тонкие, юные, прошёл свет: она была прекрасна, и она была прозрачна, как прозрачна витрина. Аплодисменты встали — Феяс не слышал, но видел по движению темноты, по тому, как встала, всколыхнулась вся эта живая тьма зала, — и Маргарет Вэйл открыла рот, чтобы говорить, и голос её был молод, и звонок, и чист, — и первое слово, которое она произнесла, упало на сцену и осталось лежать на нём, видимое, осязаемое, как вещь: это было слово «смотрите», и оно лежало у её ног, блестя, как лежит вырезанная из бумаги снежинка.

Она не заметила. Она говорила дальше — и слова падали,

падали, красивые, отточенные, мёртвые, как падают лепестки с искусственного цветка. Зал не слушал. Зал смотрел. В этом и была цена, которую Маргарет Вэйл принесла с собой с Бонд-стрит: она просила глаза, которые смотрят, — и получила глаза, которые смотрят, и больше ничего. Глаза не слушают. Глаза не любят. Глаза не помнят. Глаза только смотрят, и смотрят, и смотрят, и в этом — вся их бездна.

Феяс стоял и смотрел, как она играет для тех, кто смотрит, и не слышит, и в груди его, в комнате без пианино, было холодно и ровно, как всегда, — и только где-то на самом дне, там, где лежало свернувшееся, дыхание стало чуть глубже, как бывает глубже вдох у того, кто узнал.

А в зеркале, в глубине, старая Маргарет Вэйл шла всё дальше, в серебряную воду, и вуаль её развевалась, и губы шевелились, и Феяс прочёл ещё раз, беззвучно: «смотри, глупая». И потом она повернулась — впервые — и посмотрела прямо на него, на проводника, на мальчика в траурном костюме, который стоял по эту сторону стекла и не мог ничего, — и взгляд её был не укором и не мольбой, а тем, чем был: взглядом актрисы, которая доиграла роль и смотрит на суфлёра, зная, что суфлёр больше не нужен, потому что слова кончились, а занавес уже идёт вниз.

Феяс повернулся и пошёл обратно по коридору — один, как ходил всегда, — и зеркала по обе стороны стояли теперь пустые, серебряные, честные, и только в одном, третьем слева, осталась босая девочка в ситцевом платице, и она нако-

нец смотрела не мимо — ему вслед. Феяс это видел краем глаза и не ускорил шага: спешить в дверях было нельзя, двери спешку считали за страх, а страх — за вкус.

На пороге он остановился, поднял с пола свою погасшую свечу и вышел.

В библиотеке было тихо. Полки дремали. Где-то далеко, в третьей секции, ряду В, на полке ещё не стоял пузырьрёк Маргарет Вэйл — он лежал у Феяса за пазухой, прижатый к груди, тёплый, с теплом руки, с теплом того, что ещё помнит тело, — и Феяс пошёл по главному проходу, между рядами, мимо спящих сфер, мимо шевелящихся в вышине незваных гостей, которые сегодня не окликали его, потому что у него не было знакомых голосов, — пошёл к стойке, к конторской книге, к своему табурету, чтобы записать ровным, старомодным почерком с длинными хвостами у заглавных букв: «Маргарет Вэйл. Актриса. Желание: молодость. Исполнено. Плата принята».

Дверь зеркал за его спиной запела — тихо, сытно, — и умолкла.

Обратно шли не вдвоём.

Феяс знал это ещё до того, как услышал: знал по тому, как встали дыбом тени. В библиотеке, между рядами В и Г, свеча его вдруг стала гореть низко и синевато, как горит свеча в комнате, откуда только что вынесли тяжёлое, — и Феяс остановился, и встал так, как учила его лавка: боком к темноте, спиной к полкам, чтобы спина была у сфер, потому что сферы были тёплые, а тепло незваные гости не любили.

Из темноты, из верхних ярусов, куда не доставал свет, спускалось.

Оно не шло — оно стекало: по корешкам, по коробам, по пыли веков, и пыль под ним не вздымалась, а умирала, оседала мёртво, как оседает пена. У него было много ног — или много пальцев, или много того, чему в языке, которым говорят наверху, не было слова, — и все они были слишком длинными и сгибались не в ту сторону, и каждый сустав на них был похож на коленку, и на каждой коленке — на глазок, маленький, белёсый, без зрачка, как у варёной рыбы. Тварь была голодна. Феяс чуял это так, как чувят в доме утечку газа: не по запаху — по тому, как тихо стало вокруг. Все незваные гости, все пыльные жилы верхних ярусов, попрятались; попрятались так глубоко, что исчезло само их привычное шевеление, и библиотека стала пустой, как становится

пустой улица, когда на неё выходит тот, кого ждали с виселицей.



— Ты не из двери, — сказал Феяс тихо. Он говорил это не твари — он говорил это лавке, докладывал, как докладывают дежурному: — Ты из-под. Из-под двери.

Тварь остановилась. Белёсые глазки на её коленях повернулись к нему — все разом, с мелким влажным шорохом, — и Феяс понял, что она его видит, и что видит она в нём то, чего не видел никто из клиентов: не мальчика, не проводника, а то, что стояло за ним, глубже, дальше, — и глазки эти, мёртвые, варёные, дрогнули. Тварь боялась. Но голод в ней был больше страха — голод вообще всегда больше страха, в этом и состоит его работа, — и тварь потекла дальше, вниз, в свет свечи, и Феяс увидел её пасть: она была вся в полоску, как пасть рыбы, и внутри неё, вместо зубов, росли зеркальные осколки, тонкие, как лёд на луже, — дверь зеркал кормила её своими сколами, или она жила в двери, как рак в раковине, пока дверь не распахнулась сегодня шире обычного.

Она бросилась — не на Феяса. На пузырьрёк.

Феяс понял это за миг до броска: она шла не по нему, а мимо него, на запах, на тепло, на треть души Маргарет Вэйл, что лежала у него за пазухой и светилась сквозь сукно, как светится уголёк сквозь пепел. Он не успел убрать руку — он и не стал: он заслонил. Он повернулся к твари грудью, и тварь ударила его — в плечо, ниже ключицы, — и зеркальные зубы вошли в него, как входят в мягкое дерево, и было больно — было, было больно, Феяс не лгал себе никогда, — и

кровь пошла, тёмная, тяжёлая, странно медленная, как идёт мёд из надрубленной колоды, — и кровь его, капнув на пол библиотеки, задымилась, как дымится вода на раскалённом железе, и доски под ней пошли пузырями.

Тварь отскочила. Варёные глазки на её коленях закрылись — все разом, как закрываются окна перед бурей, — и она заверещала, тонко, мучительно, зеркальными зубами скрежеща, — потому что кровь проводника жгла её, как жжёт кислота, и на пасти её, на осколках, дымилось. Феяс стоял, прижимая ладонь к плечу, и чувствовал, как рана под ладонью затягивается — быстро, зудяще, с тем неприятным теплом, с каким срастается то, что не должно было быть разорвано. Так было всегда. Его нельзя было ранить — вернее, ранить его можно было, но раны не держались на нём, как не держится вода на стекле. Старик видел это однажды и сказал только: «Удобно», — и больше не говорил ничего, и в глазах его тогда Феяс прочёл то, что не прочёл тогда, а прочёл много позже: старик не удивился. Старик узнал.

— Иди, — сказал Феяс твари. Голос его был ровный, как всегда, только тише. — К двери. Туда. Где тебе место.

Тварь пятилась — на коленях, на глазках, на всём своём перепутанном теле, — и пятилась она не от него, Феяс знал: от крови на его ладони, от дыма над досками, от того, что стояло за ним, глубже, дальше. Он шёл на неё шагом, не быстро, не медленно, ровно, — как шёл всегда, как вёл клиентов, — и тварь пятилась перед ним по главному проходу,

мимо спящих сфер, мимо полок, и полки шипели на неё пылью, и сферы вспыхивали при её приближении, как вспыхивают угли, когда на них плюнут. У двери зеркал Феяс остановился. Тварь уперлась в порог — она не хотела обратно, зеркальные её зубы клацали, пасть дымилась, варёные глазки молили, — и Феяс поднял свою окровавленную ладонь, и тварь, взвизгнув, влилась в дверь, как вливается вода под щель, и дверь за ней сомкнулась с тем мягким, окончательным звуком, с каким закрывают крышку.

Феяс постоял. Плечо его уже не болело — только зудело, и под сукном, он знал, кожа уже целая, ровная, бледная, как будто ничего не было. Была только кровь: на ладони, на полу, дымящаяся лужа, в которой доски пузырились и темнели. Он достал из кармана тряпку — у него всегда была тряпка, в этом тоже состояла его работа, — и вытер пол, и тряпка в его руке задымилась и почернела, и он бросил её в жестяную банку под стойкой, когда вернулся, рядом с огарками свечей, — старик потом спалит, старик всё сжигал в своё время, в ночи, когда менялся счёт.

Потом он сел за стойку, открыл конторскую книгу и написал ровным, старомодным почерком: «Маргарет Вэйл. Актриса. Желание: молодость. Исполнено. Плата принята». А ниже, после точки, — он делал это всегда, для себя, мелко, так что старик, если и читал, то не подавал виду, — приписал: «Из-под двери вышла одна. Голодная. Вернула. Плечо зажило. Пузырёк цел».

Пузырёк лежал на стойке, янтарный, тёплый, и огонёк внутри него горел ровно, как горит лампа в гримёрной перед спектаклем.

Кровь на досках не высыхала — она дымилась, и дым этот, тонкий, серый, поднимался не вверх, а вбок, к полкам, и полки, где стояли сферы, отзывались на него тихим, частым звоном, как отзывается стекло на шаги. Феяс вытер лужу тряпкой, и тряпка почернела и задымилась в его руке, и он бросил её в жестяную банку под стойкой, — а потом стоял и смотрел на свою ладонь, на которую капнуло, и кожа на ладони была целая, ровная, бледная, — только на ней, в разводах, в линиях, остался след: не шрам, нет; рисунок, как остаётся рисунок от выжженного на дереве, тонкий, коричневый, похожий на букву, которой не было в алфавите. Феяс смотрел на него долго. Потом сжал ладонь в кулак и разжал. Рисунок остался.

Старик спустился не сразу. Феяс успел отнести пузырьёк Маргарет Вэйл на полку, успел записать в книгу, успел сесть за стойку и сложить руки, — и только тогда наверху, за семью поворотами лестницы, погасла лампа, и по ступеням, по перилам, по воздуху спустился запах паяльника и старик.

Он нёс не лампу — нёс таз, медный, тот самый, из которого Феяс умывался, и в тазу, на дне, лежало что-то, завёрнутое в парчовую занавеску, ту самую, из-за которой был кран. Старик поставил таз на стойку и развернул ткань.

Внутри была тварь.

Не та, что ушла в дверь, — другая. Меньше. Мертвая. Она лежала, свернувшись, как сворачивается паук, которого раздавили не до конца, и коленки её, с белёсыми глазками, были поджаты, и зеркальные зубы в пасти, похожей на рыбу, обломались и лежали рядом, в тазу, как лежат обломки льда. Тварь была разрезана — не ровно, не хирургически, а по-стариковски: вдоль, криво, с любопытством, — и внутри у неё не было ничего, что бывает внутри у живого: ни костей, ни крови, ни того, что греется. Внутри у неё было зеркало. Сплошное, плоское, как пакля, как вата, как то, чем набивают то, что должно казаться набитым.

— Они не живые, — сказал старик. Он говорил буднично, как говорят о погоде. — Они — отражения. Дверь зеркал рождает их, как рождает сколы. Ты видишь, мальчик мой? Внутри у неё — стекло. Она сама — стекло. Она пришла сюда не поесть. Она пришла сюда смотреть. Они все приходят сюда смотреть. — Он взял один из обломков зеркального зуба, поднял к свету, и в обломке, в этом осколке, Феяс увидел: не своё отражение — отражение двери зеркал, и в ней, в глубине, в серебряной воде, шла старая Маргарет Вэйл, и вуаль её развевалась без ветра. — Они — её глаза. Дверь смотрит на нас через них. Она всегда смотрит. Она ждёт, когда мы посмотрим в ответ. Поэтому ты не смотришь вверх. Поэтому ты не отвечаешь, когда окликают. Понимаешь теперь?

Феяс смотрел на осколок. В нём, в глубине, старая Маргарет Вэйл остановилась и обернулась, и посмотрела — не

на него; на старика. И губы её шевельнулись, и Феяс прочёл: «галёрка плачет честнее».

— Понимаю, — сказал Феяс.

— Нет, — сказал старик. — Но будешь. — Он завернул тварь обратно в парчу, аккуратно, как заворачивают то, что ещё пригодится. — Я сожгу её в ночь, когда меняется счёт. Вместе с огарками. Вместе с твоей тряпкой. Всё, что дымит-ся, — в огонь, мальчик мой. Таково правило этой лавки: что дымится — горит. Что горит — не возвращается.

Он унёс таз. Феяс остался за стойкой один, с целой ладонью, на которой остался рисунок, похожий на букву, которой не было в алфавите, и сидел, и смотрел на него, и думал без слов, думал погодой: что буква эта — не первая. Что были другие, на других частях, в другие ночи, — на спине, на плечах, на ребрах, — и что они, может быть, складываются. В слово. В имя. В то, что он не помнил, потому что не умел читать на том языке, на котором его писали.

Старик ушёл с тазом, а Феяс остался за стойкой, и ночь встала вокруг него, как встаёт вода вокруг камня.

Он не зажигал свечи. В темноте лавка была виднее — в этом была её странность, которую Феяс давно перестал замечать: чем темнее, тем яснее. Он сидел и смотрел на свои руки, сложенные на конторской книге, — на правую ладонь, где остался рисунок, похожий на букву, и на левую, где буквы не было, но была другая метка, старая, давняя, та, что появилась в ночь, когда он впервые вышел из двери один, — и думал о том, что сказал старик.

«Ты единственный, кто выходит».

Он знал это. Он знал это так, как знают, что нельзя дышать под водой: без доказательства, без сомнения, без вопроса. Он входил в двери с клиентами — с теми, кто просил, с теми, кто платил, с теми, кто шёл за своим желанием, как идут за нитью в лабиринте, — и выходил один. Всегда один. И двери его не ели, и миры его не держали, и твари его боялись, и сферы грелись при его приближении, как греются угли, когда на них дышат, — и он не знал почему, и не спрашивал, потому что знал: ответ стоит за той, седьмой, которой нет, а туда он не ходил. Пока не ходил.

Но сегодня — впервые — он подумал: а что, если там, за дверью, которой нет, лежит не его прошлое? Что, если там

лежит его будущее? Что, если дверь бережёт его не для того, чтобы он вспомнил, кто он был, — а для того, чтобы он стал тем, кто он будет? Мысль эта пришла тихо, как приходит сон, и Феяс не прогнал её. Он сидел с ней, как сидят с гостем, который пришёл не вовремя, но которого не выгонишь, — и слушал, как она дышит, и чувствовал, как в груди, в комнате без пианино, свеча, которую туда внесли, горит чуть ровнее.

Он не знал, что это значит. Он записал это в конторскую книгу, мелко, после точки, для себя: «Дверь бережёт. Для чего — не знаю. Может быть, для того, чтобы я сам её однажды открыл. Не как помощник. Как тот, кто пришёл за своим».

А потом он закрыл книгу и сидел в темноте, и слушал лавку, и ждал, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

Старик спустился, когда Феяс относил пузырьёк Маргарет Вэйл на полку — третья секция, ряд В, ряд с теми, кто про-сил красоты и возвращения, где сферы стояли плотно, как стоят люди в очереди за тем, чего не будет.

Он ждал у арки, с лампой, и на лице его, яблочном и уста-лом, Феяс прочёл всё, что полагалось: старик знал. Лавка до-кладывала ему о тварях, как докладывала Феясу о клиентах.

— Покажи, — сказал старик.

Феяс показал плечо — вернее, ворот рубашки, где ещё темнело прорванное сукно, а под сукном была целая кожа. Старик посмотрел. Он не поднял бровей, не присвистнул; он смотрел так, как смотрят на погоду, о которой уже сказали в газете: без удивления, с усталостью.

— Из-под зеркала, — сказал он. — Она живёт там. Живёт давно. Питается сколами. — Он помолчал, и Феяс увидел, что старик смотрит не на плечо, а на его ладонь, на которой кровь уже высыхала коричневой пылью. — А ты, мальчик мой, её прогнал.

— Она пошла на пузырьёк, — сказал Феяс. — Не на меня. На пузырьёк.

— На пузырьёк, — повторил старик. Он поднял лампу чуть выше, и свет упал на лицо Феяса, и старик смотрел на него долго, внимательно, как смотрят на вещь, которую нашли в

том месте, где её быть не могло. — Ты знаешь, что такое проводник, мальчик мой?

— Тот, кто проводит, — сказал Феяс.

— Тот, кто проводит и возвращается, — сказал старик. — Это разные вещи, и разница между ними — весь этот мир. Клиенты входят в двери и не выходят. Тыходишь и выходишь. Ты единственный, кто выходит. Ты знаешь почему?

— Нет, — сказал Феяс.

— И я не знаю, — сказал старик, и Феяс услышал, что это правда, — старик лгал редко, и то по чудачеству, а не по нужде. — Я думал, это потому, что ты из лавки. Потом думал — потому что ты ниоткуда. Потом — потому что ты не помнишь, а двери берут память, а тебе нечего. Теперь я думаю другое. — Он снял очки, протёр их полрой жилета, и глаза его без очков были маленькими, красными, старыми, и смотрели на Феюса с той незащищённостью, какая бывает у стариков, когда им снят стёкла, — а вместе со стёклами, кажется, снят и возраст, и функция, и всё. — Теперь я думаю, что двери тебя не едят, потому что ты им не вкусный. Ты пустой, мальчик мой. Пустой, как стакан. И вот что я тебе скажу — скажу один раз, а ты запомни, потому что повторять я не стану, а это важнее правил: когда ты наполнишься, — а ты наполнишься, все наполняются, даже стаканы, даже двери, — когда наполнишься, двери почуют. И тогда, мальчик мой, ты перестанешь выходить. Поэтому — не торопись. Оставайся пустым столько, сколько сможешь. Это единственное твоё

преимущество перед этим местом, и ты его теряешь каждый раз, когда тебе бывает не всё равно.

Он надел очки, и глаза его снова стали стёклами, и он был снова стариком, функцией, чудаком, коллекционером сфер.

— А теперь иди спи, — сказал он буднично. — Ночь была долгая. Они всегда длинные, когда кто-то остаётся за стеклом.

11a

Старик ушёл, а Феяс остался, и ночь встала вокруг него, как встаёт вода вокруг камня.

Он не зажигал свечи. В темноте лавка была виднее — в этом была её странность, которую Феяс давно перестал замечать: чем темнее, тем яснее. Он сидел и смотрел на свои руки, сложенные на конторской книге, — на правую ладонь, где остался рисунок, похожий на букву, и на левую, где буквы не было, но была другая метка, старая, давняя, та, что появилась в ночь, когда он впервые вышел из двери один, — и думал о том, что сказал старик.

«Ты единственный, кто выходит».

Он знал это. Он знал это так, как знают, что нельзя дышать под водой: без доказательства, без сомнения, без вопроса. Он входил в двери с клиентами — с теми, кто просил, с теми, кто платил, с теми, кто шёл за своим желанием, как идут за нитью в лабиринте, — и выходил один. Всегда один. И двери его не ели, и миры его не держали, и твари его боялись, и сферы грелись при его приближении, как греются угли, когда на них дышат, — и он не знал почему, и не спрашивал, потому что знал: ответ стоит за той, седьмой, которой нет, а туда он не ходил. Пока не ходил.

Но сегодня — впервые — он подумал: а что, если там, за дверью, которой нет, лежит не его прошлое? Что, если там

лежит его будущее? Что, если дверь бережёт его не для того, чтобы он вспомнил, кто он был, — а для того, чтобы он стал тем, кто он будет? Мысль эта пришла тихо, как приходит сон, и Феяс не прогнал её. Он сидел с ней, как сидят с гостем, который пришёл не вовремя, но которого не выгонишь, — и слушал, как она дышит, и чувствовал, как в груди, в комнате без пианино, свеча, которую туда внесли, горит чуть ровнее.

Он не знал, что это значит. Он записал это в конторскую книгу, мелко, после точки, для себя: «Дверь бережёт. Для чего — не знаю. Может быть, для того, чтобы я сам её однажды открыл. Не как помощник. Как тот, кто пришёл за своим».

А потом он закрыл книгу и сидел в темноте, и слушал лавку, и ждал, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

Но Феяс не спал.

Он сидел на полу библиотеки, между третьей секцией и стеной, — там, где полки кончались и начиналась та часть лавки, которую он называл про себя «далью», — и смотрел на дверь, которой не было. Седьмая. Его.

Сегодня она была виднее обычного. Прямоугольник более глубокой темноты стоял в стене ровно, как стоит дверь, и если поднести свечу ближе — Феяс не подносил, он знал, что будет, — пламя начинало дрожать, как дрожит вода, когда по ней идёт что-то тяжёлое, невидимое глазу. За ней лежало то, чего он не помнил. Его жизнь, его имя, его смерть. Его первая стойка, его первый клиент, его первый — Феяс не знал слова. Кто-то стоял за этой стойкой до него. Почерк в конторской книге — похожий. Тот же наклон. Те же хвосты у заглавных букв. Та же точка, поставленная чуть выше строки.

Феяс сидел и смотрел на дверь, которой не было, и думал то, что думал каждую ночь, когда лавка затихала, а сферы грелись в стекле и дыму: что он не помощник. Он не был помощником. Помощника нанимают, помощник приходит, у него есть адрес, у него есть прошлое, у него есть имя, данное матерью, а не найденное на витрине. Он не помнил, как пришёл. Он помнил только, что уже стоял за стойкой, и ста-

рик сказал: «Ну вот. Встанешь здесь. Тебе здесь», — и эти слова были не приглашением и не приказом, а узнаванием, как говорят: «А, вот ты где», — человеку, которого давно не видели и уже перестали ждать.

Сегодня, в первый раз, он попробовал читать.

Не книгу — себя. Он снял пиджак, аккуратно, как снимал всегда, сложил его на пол, повесил на спинку невидимого стула, — и поднял рубашку, и посмотрел на свои ребра. Кожа была бледная, ровная, как у всех, кто не выходит на солнце, — и на ней, в разводах, в линиях, в рисунках, которые оставляли раны, не державшиеся на нём, были буквы. Не языка, которым говорят наверху. Не языка, которым говорят внизу. Буквы того языка, которым пишут то, что не должно быть прочитано дважды. Феяс смотрел на них долго, и читал не глазами — костями, — и не понимал, но знал: это имя. Его имя. Не то, которым его звали здесь — то, которое у него было до того. Оно было написано на нём, как пишут на вещи, чтобы вещь не потерялась, — и написано было так, чтобы он не прочёл, пока не придёт время, — а время, Феяс знал, приходит всегда, особенно к тем, кто не торопится.

Он опустил рубашку. Он надел пиджак. Он сел обратно на пол, спиной к стене, лицом к двери, которой не было, и сказал ей — впервые, тихо, как говорят тому, кто спит:

— Я прочту. Не сегодня. Не скоро. Но прочту. А потом я войду в тебя, и ты мне отдашь то, что взяла, — не потому, что ты добрая, а потому, что я приду за своим, и ты знаешь это, и

ждёшь, и поэтому ты не ешь меня, когда я выхожу из других дверей. Ты бережёшь меня для себя. Я — твой. Вот почему я пустой. Ты выпила меня до дна, и поставила обратно, и забыла, где поставила. Но я вспомню. Я уже вспоминаю.

Дверь, которой не было, не дрогнула. Но свеча на полу, догоревшая до блюдца, вдруг вспыхнула — в последний раз, ярко, высоко, — и в этом всплеске света Феяс увидел: на стене, там, где стоял прямоугольник более глубокой темноты, появилась тень. Не двери. Тень. Чья-то. Стоящая. Ждущая. И потом свеча погасла, и тень осталась, потому что тень не нуждается в свете, чтобы стоять, — и Феяс сидел в темноте, и смотрел на неё, и не боялся, потому что бояться было нечего: тень была его собственной, и она была там, за дверью, с той стороны, и ждала, когда он придёт забрать её обратно.

Он поднял руку и посмотрел на неё. Рука была целая. Кожа ровная, бледная, без шрама. Раны не держались на нём, как не держится вода на стекле. Он не болел. Он не старел. Он не помнил. Он входил в двери и выходил один, и двери его не ели, потому что он был пустой, как стакан, — а стакан, который пуст, нечего пить. Старик сказал это сегодня, и Феяс услышал, и услышал за этим другое, то, что старик не сказал: что стакан когда-то был полон. Что стакан не рождается пустым. Что пустота его — не природа, а результат, — и что где-то, когда-то, из этого стакана выпили всё, до дна, и поставили обратно, и забыли, где поставили.

— Кто меня выпил? — спросил Феяс вслух, тихо, в тем-

ноту библиотеки, и голос его был ровным, как всегда, только тише, чем всегда.

Дверь, которой не было, не ответила. Двери не отвечали. Они исполняли.

Но где-то глубоко, в невозможной дали, за рядами, за секциями, за полками со сферами, где стояли тысячи тёплых огоньков, где спали, свернувшись, части чужих душ, — там что-то шевельнулось. Не тварь. Не гость. Что-то большее, что-то, что лежало на дне всего, свернувшись, и дышало раз в год, раз в столетие, и от этого дыхания вся вода вокруг, вся белизна, весь снег его памяти чуть-чуть поднимался и опускался. Феяс слышал это не ушами — костями. Он всегда слышал. Сегодня он впервые назвал это словом.

— Ты, — сказал он. Не спросил. Сказал.

И дверь, которой не было, на мгновение — только на мгновение, так что Феяс потом не мог бы поклясться, — стала чуть менее тёмной. Не светлой, нет. Менее тёмной. Как бывает менее тёмной глубина, когда в ней открывают глаза.

12a

Ночью лавка дышала иначе.

Феяс не спал — он никогда не спал в те ночи, когда дверь брала своё, — и сидел за стойкой, и слушал. Лавка говорила не голосами: треском, вздохами, тонкой переключкой дерева и стекла. Вот проснулась и повернулась на полке сфера Маргарет Вэйл — новенькая, она ещё шумела, как шумит новичок в казарме; вот в верхних ярусах перебралась с места на место одна из незваных гостей — осторожно, пыльно, с виноватым шуршанием; вот далеко, глубоко, где стеллажи кончались и начиналась «даль», дверь зеркал тихо запела, и нота её была сытая, довольная, и в ней — Феяс слышал — был новый обертон, новый голос, тонкий, серебряный, как нить: голос той, что осталась за стеклом.

А потом колокольчик над дверью качнулся.

Не зазвенел — качнулся. Медленно, тяжело, как качается голова спящего, который слышит сквозь сон, что в дом вошли. Феяс поднял голову. В зале было пусто. За витриной стоял туман, и в тумане не было ни фонарей, ни прохожих, ни города. Но колокольчик качался, и медь его боков темнела, и трещина на нём, залитая изнутри чем-то тёмным, казалась глубже, чем была днём.

Феяс встал. Он подошёл к двери — босиком, без свечи, потому что в лавке, где всё видело, свет был не нужен тому,

кто знал дорогу, — и приложил ладонь к косяку. Косяк был холодный, всегда холодный, — но сегодня он был тёплым. Тёплым, как бывает тёплым камень, на котором долго сидел кто-то, кто уже ушёл.

— Кто там? — спросил Феяс. Не громко. Не вопросом — подтверждением.

Колокольчик перестал качаться. Он замер, и медь его боков стала светлеть, и трещина стала просто трещиной, и тепло ушло из косяка, как уходит тепло из руки, которую отняли. Феяс стоял ещё немного, слушая, как лавка снова начинает дышать, — медленно, с перерывом, как дышит тот, кто задержал дыхание и теперь отпускает его, — и потом вернулся за стойку, и сел, и сложил руки на конторской книге, и сказал в темноту:

— Не сегодня.

И лавка, которая слушала всегда, ответила ему — не словом, нет: скрипом, вздохом, тонкой переключкой дерева и стекла, — и в этой переключке было то, что Феяс понял без слов: не сегодня. Но скоро. Скоро. Всё приходит в лавку. Даже то, чего не ждали. Особенно то.

Утром старик нашёл его спящим у стены, со свечой, догоревшей до жестяного блюдца, с руками, сложенными на конторской книге, которую он прихватил с собой, зачем-то, из зала.

— Ты здесь спал, — сказал старик. Это не был вопрос. В голосе его не было ни укора, ни удивления — одно подтверждение, как подтверждают, что дождь идёт.

— Я думал, — сказал Феяс. Он поднялся, отряхнул костюм, — костюм был чистый, всегда чистый, лавка следила, — и посмотрел на старика серыми, миндалевидными, рыбыими глазами, в которых ничего не отражалось, кроме лампы.

— О двери? — спросил старик.

— О пустоте, — сказал Феяс. — Ты сказал: оставайся пустым. А если я не хочу быть пустым?

Старик молчал. Он смотрел на Феяса долго, и взгляд его, сквозь железную оправу, был в этот миг не взглядом функции, не взглядом коллекционера, а взглядом того, кто однажды сам стоял у двери, которой не было, и не вошёл.

— Тогда ты начнёшь помнить, — сказал он наконец. — А память, мальчик мой, это единственное, что двери берут без платы. Ты начнёшь помнить, и двери начнут есть тебя по кусочку, не открываясь. Ты будешь выходить из них, а выхо-

дить будет всё меньше. — Он помолчал. — Но ты спросил — а я отвечаю, потому что помощник не лжёт, а я не помощник, я старик, и мне можно, — если не хочешь быть пустым, наполняйся. Только не дверями. Не сферами. Не мной. — Он повернулся и пошёл к арке, и на пороге остановился и сказал, не оборачиваясь, тихо, как говорят в спину тому, кто уже уходит: — Наполняйся тем, что придёт. Оно придёт. Всё приходит в лавку, мальчик мой. Даже то, чего не ждали. Особенно то.

Феяс стоял у стены, со своей догоревшей свечой, со своей конторской книгой, со своими целыми руками и пустым стаканом вместо сердца, и смотрел вслед старику, и не понимал — не слов, нет; слова были простые, — не понимал, почему в груди у него, в той самой комнате, откуда вынесли пианино, вдруг стало чуть теплее, как бывает теплее в комнате, когда в неё вносят — не пианино, нет; что-то маленькое. Свечу. Одну. И ставят на пол, и выходят, и закрывают дверь, а свеча остаётся гореть.

Он не знал, что это было. Он записал это в конторскую книгу, мелко, после точки, для себя: «Ночь. Дверь виднее. Старик сказал: наполняйся. В груди теплее. Плечо цело. Пузырьки на полках. Двери поют. Я выхожу один. Пока выхожу».

Он сидел так до тех пор, пока витрина не просветлела окончательно и тупик Чёрного Фонаря не стал забирать у мира свои вещи: мостовую, кирпич, пожарную лестницу, по-

хожую на ноты. Стена возвращалась — медленно, с достоинством актёра, доигравшего роль до конца, — и вместе с ней возвращалось то, что Феяс называл про себя днём: не время, нет; просто смена караула у света. Скоро настоящий Лондон проснётся окончательно — задрезежат омнибусы, задымят трубы, понесутся по мостовым миллионы шагов, и в каждом десятитысячном будет та самая дробь, та особенная поступь человека, которому уже некуда возвращаться, — и тупик будет стоять посреди города и слушать, и выбирать, и ждать вечера, чтобы открыть стену, как открывают дверцу сторожке.

Феяс поднялся, прошёл к двери и снял с кожаного ремешка колокольчик — это тоже входило в его работу, хотя никто этого не записывал: на день колокольчик снимали, потому что днём лавка была закрыта, а колокольчик, оставленный на двери закрытой лавки, мучился, как мучается сторожевой пёс, которому запретили лаять. Медь в ладони была холодной и гладкой; трещина на боку, залитая изнутри чем-то тёмным, цеплялась за кожу, как цепляется за рукав заусенец. Феяс поднёс колокольчик к свету серого утра и посмотрел внутрь, в этот тёмный залив трещины, — он делал так иногда, не зная зачем; может быть, проверял, — и на дне трещины, как всегда, ничего не было, кроме темноты, и эта темнота, как всегда, показалась ему не пустой, а терпеливой.

Он понёс колокольчик на его дневное место — под стойку, на маленькую полочку из грушевого дерева, где тот лежал до вечера рядом с жестяной банкой восковых огарков,

и тёплое с холодным лежали рядом и не мешали друг другу, — и только тогда, уже оборачиваясь, услышал за спиной, из глубины библиотеки, из невозможной её дали, как тихо и весело, сама по себе, звякнула одна из сфер на полке — стекло о стекло, легко, как звякают бокалы в доме, где за стеной пируют. Кто-то из спящих во сне повернулся. Кто-то из них, быть может, видел сон.

Феяс постоял, слушая, как стихает этот звон, и ему подумалось — впервые за все годы, если годы здесь считались, — что вот она, разгадка запаха лавки, этого сладковатого, миндального, пыльного воздуха, которым пропахли его волосы и его костюм, и его кожа, и его сны: лавка пахла так, потому что была полна тем, чего не бывает на складах и в банках, — пахла тем, что люди отдали, сами, добровольно, со страхом и с надеждой, за золото, за молодость, за возвращение, за забвение, — и что грелось теперь в стекле и дыму, рядами, секциями, до самой дали, — и не могло согреть никого.

Кроме, может быть, его одного. Потому что он, Феяс, прижимал их к груди каждую. Он не знал почему.

Может быть — это пришло ему в голову в то утро, впервые, и пришло так тихо, что он не испугался, — может быть, потому, что когда-то, очень давно, кто-то точно так же держал что-то тёплое прижатым к нему.

А потом он пошёл в зал, за стойку, и сел на свой табурет, и сложил руки на свежеподклеенной обложке, и стал ждать, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда

её ждали.

Он не знал этого. Он не знал имён тех, кто шёл к лавке, — лавка докладывала о них по-другому: запахами, скрипами, порядком теней, — но сегодня, сидя за стойкой, Феяс чувствовал что-то новое, чего не чувствовал раньше: не пустоту, не голод, не жажду, не страх — всё это он знал, всё это приходило и уходило, как приходит и уходит погода, — а тепло. Маленькое. Едва заметное. Как тепло от окна, за которым горит чужой очаг. Кто-то шёл к лавке, и в груди у этого кого-то пустота была размером с колодец, — но в колодце этом, на самом дне, горела свеча. Одна. Маленькая. Не для себя.

Феяс сидел и слушал это тепло, и не понимал его, потому что не знал таких слов, — и в груди его, в комнате без пианино, свеча, которую туда внесли, вдруг дрогнула, как дрожит свеча, когда в комнату входят, и горит ровнее, потому что воздух в комнате стал другим. Он не знал, что это значит. Он записал это в конторскую книгу, мелко, после точки, для себя: «Кто-то идёт. Тёплый. Не для себя. Не знаю, что это. Колокольчик готовит звук. Новый. Тихий. Почти нежный».

А потом он закрыл книгу и сидел в темноте, и слушал лавку, и ждал, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

Колокольчик над дверью повернулся на кожаном ремешке. Где-то за стеной, в тумане, который уже собирался, уже густел, уже тянулся к тупику Чёрного Фонаря, кто-то шёл. Шёл медленно, шёл неделями, шёл годами, шёл не зная, что

идёт, — и внутри у этого кого-то, в груди, пустота уже была размером с колодец, и колокольчик это слышал, и готовил звук, и звук этот был новым, таким, какого Феяс ещё не слышал: не корыстным, не жалобным, а тихим, почти нежным, как звенят не о гибели — о встрече.

Но это было потом. Это была другая глава.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 2

«**Дверь зеркал**»(раздел 5) — первая слева в конце главного прохода; полотно из сплошного зеркала в раме из спресованной соли; в зеркале стоит молодая Маргарет Вэйл, а перед ней — старая, в вуали; пламя свечи в отражении горит вниз.

«**Две Маргарет по разные стороны стекла**»(раздел 8) — по одну сторону: молодость, в три человеческих роста, янтарный свет рамп, шум зала; по другую: старость, уходящая вглубь зеркальной воды, вуаль развевается без ветра; между ними — стекло, которое есть кожа.

«**Тварь из-под двери**»(раздел 10) — существо с множеством коленей, на каждом по белесому глазку без зрачка; пасть в полоску, как у рыбы, внутри — зеркальные осколки вместо зубов; кровь проводника дымится на досках.

Глава 3. Дверь в прошлое

1

В то утро часы в лавке раскисли.

Феяс заметил это раньше, чем успел открыть глаза, — он вообще замечал такие вещи раньше, чем успевал их заметить, в этом состояла часть его работы, которой не было названия, — заметил по тишине. Лавка никогда не была тихой до конца: она тикала. Тикал будильник с облупившимся колокольчиком на задней полке, тикал дорожный хронометр в жестяном футляре, тикали трое настенных ходиков с гирями, похожими на маленькие гробы, тикала, тонко и виновато, карманная луковица, которую старик забыл вернуть кому-то лет двадцать назад и теперь уже не мог вернуть никому, потому что тот, кому она принадлежала, умер, не дождавшись, — и вся эта стая маленьких механических сердец составляла фон лавки, её дыхание, её пульс, и Феяс привык к нему, как привыкают к пульсу собственному, то есть совсем, то есть навсегда.

В то утро пульса не было.

Он лежал в своей каморке под лестницей — узкой, как гроб, который решил стать комнатой, — и слушал тишину, и тишина была не пустой: она была наполненной, как напол-

нено ухо, если зажать его ладонью. Где-то капала вода. Это было странно, потому что кран за парчовой занавеской Феяс закрыл вечером до упора, а дождя не было третий день, — но капало, ровно, медленно, с паузами, как капает вода, у которой есть время, и Феяс поднялся, и оделся — чёрное, высокий белый воротничок, пуговицы по одной, как всегда, — и вышел в зал.

Часы стояли. Все. Будильник стоял на половине седьмого, хронометр — на половине седьмого, ходики — на половине седьмого, и луковица, виноватая, двадцать лет не возвращённая, стояла на половине седьмого, хотя вечером шла исправно, Феяс слышал её тонкое виноватое тиканье, когда запирали дверь. Стрелки не просто встали — они обмякли. Феяс подошёл к ходикам ближе и увидел: минутная стрелка, тонкая, чёрная, кованая, обвисла вниз, как обвисает траурный креп на двери, где кого-то хоронили, — металл, который не может обвиснуть, обвис, — и циферблат под стеклом был влажным, изнутри, в капельках, как запотевшее окно, за которым кто-то дышит.

Старик уже был в зале. Он стоял у ходиков в своём жилете с девятью карманами и смотрел на них поверх железных очков, и в руке у него, как всегда по утрам, была лампа с закопчённым стеклом, хотя утро уже наступило и лампа была не нужна.

— Раскисли, — сказал старик. Он не обернулся: он никогда не оборачивался, когда за ним стоял Феяс, он узнавал его

по тому, как менялся воздух. — Все до одних. Видал?

— Видел, — сказал Феяс.

— Сорок лет, — сказал старик, и в голосе его не было ни жалобы, ни удивления — был интерес, тот самый, с каким часовщик слушает чужой механизм, — сорок лет я их спрашиваю: не раскисли ли. А они не раскисали. Держались. А сегодня — вот.

Он постучал ногтем по стеклу ходиков — глухо, как стучат по дну лодки, — и стекло отозвалось влажно, и старик удовлетворённо кивнул, как кивают ответу, который неприятен, но честен.

— Значит, она пришла, — сказал он. — Ночью. Пока ты спал.

— Кто? — спросил Феяс, хотя уже знал — не имя, нет, а вес того, что пришло: что-то тяжёлое встало в глубине библиотеки, и весь дом, вся его невозможная геометрия, чуть осела под этим весом, как оседает почва под новым домом.

— Дверь, — сказал старик. — Гостья. Иди за стойку, мальчик. Сегодня будет клиент.

Феяс пошёл за стойку, но сначала — он делал это каждое утро, и в то утро тоже, потому что лавка любила порядок не меньше, чем её любили, — он прошёл через арку в библиотеку, со свечой, потому что утро в глубине библиотеки наступало позже, чем в зале, а в дали не наступало никогда. Библиотека стояла рядами — В, Г, Д, дальше, до самого конца алфавита, — и пахла она в то утро не так, как всегда.

Всегда она пахла пылью, и воском, и старой бумагой, и тем сладковатым миндальным воздухом, разгадку которого Фейас понял недавно и старался теперь не понимать слишком явно. А в то утро сквозь все эти честные запахи пробивался другой — холодный, зеленоватый, гнилостно-сладкий запах реки по осени, запах воды, в которой что-то долго лежало, — и чем дальше между рядами, тем этот запах был сильнее, и у последних рядов, там, где свеча горела уже неохотно, Фейас остановился и стоял, и слушал.

В дали, там, где кончалась библиотека и начинались двори, капало.

Не лилось, не текло — капало: раз, пауза, раз, пауза, и каждая капля падала с той обстоятельностью, с какой падают капли с пиджака вынутого из воды человека. Фейас не пошёл дальше — утром, до клиента, двери были не его работой, а он не любил чужой работы, — но он стоял и смотрел в темноту между последними полками, и темнота там стояла иначе, чем вчера: глубже и чуть боком, как стоит человек, который притворяется, что всегда тут стоял.

Он вернулся к стойке. Старик сидел на своём высоком табурете и перебирал ключи — не кольцо за стойкой, нет; свои, жилетные, девять карманов, и в каждом что-нибудь лежало, и Фейас никогда не видел, что лежит в девятом. Сейчас старик держал руку в девятом кармане — просто держал, как держат руку на пульсе, — и смотрел на дверь лавки, на витрину, на куклу без лица, которая сидела в витрине и смотре-

ла в тупик тем, чем смотрят куклы без лиц.

— Он придёт после полудня, — сказал старик. — Они всегда приходят после полудня, когда дверь такая. Утром они ещё решаются, днём решают, а приходят после. — Он помолчал. — Запах чуешь?

— Река, — сказал Феяс.

— Река, — согласился старик. — Старая вода. Она дольше всех помнит, старая вода. Дольше камня, дольше кости. — Он вынул руку из девятого кармана, пустую, и положил обе руки на колени, и посмотрел на Феяса поверх очков, долго, внимательно, как смотрят на инструмент перед трудной работой. — Ты отдохнул после актрисы?

— Я не устаю, — сказал Феяс.

— Это ты так думаешь, — сказал старик и больше ничего не сказал, и Феяс встал за стойку, и сложил руки на конторской книге, и стал ждать, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

Колокольчик молчал всё утро. К обеду туман за витринным стеклом сгустился до того серого, шерстяного состояния, в котором Лондон переставал быть городом и становился настроением, и в этом сером шерстяном свете кукла без лица казалась чуть более живой, чем позволяла приличие, — Феяс заметил это краем глаза и не стал замечать дальше. Он чистил перья. Он перебирал сургуч. Он подклеил корешок каталога за тысяча восемьсот девяносто второй год — в лавке всё ещё были в ходу те каталоги, — и страница под

его пальцами пахла клеем и плесенью, и он думал — он позволил себе думать об этом только сейчас, за работой, когда руки заняты и мыслям некуда деться от рук, — он думал о Маргарет Вэйл, о том, как она подняла подол жестом, которому её учили сто лет назад, и шагнула через его кровь в свет. «Одна была, которой не жаль». Он помнил её медную усмешку. Это было странно — он не помнил лиц клиентов, он помнил их желания, их запахи, вес их сфер в ладони, а лица стирались, как стирается надпись карандашом, — а медную усмешку он помнил. Он подклеивал корешок и думал: наверное, усталость. Старик сказал — отдохнул ли. Значит, такая усталость бывает: когда начинаешь помнить усмешки.

Колокольчик прозвенел в начале четвёртого.

Прозвенел — и Феяс поднял голову, потому что звук был новый. Не густой, с ворчанием, как для корыстных; не жалобный, как для потерявших; не тот, новый, тихий и почти нежный, который колокольчик готовил уже который день где-то в своей треснувшей меди для того, кто ещё шёл к лавке неделями и годами, не зная, что идёт. Нет. Звук был мокрый. Так звенит медь, если её опустить в воду и ударить под водой: глухо, тяжело, с бульканьем на самом верху ноты, — колокольчик прозвенел один раз и замолчал, и по его медному боку, по трещине, залитой тёмным, скатилась капля.

Феяс посмотрел на старика. Старик сидел неподвижно, и рука его снова лежала в девятом кармане, и глаза его за железными стёклами были внимательны и почти — Феяс уло-

вил это и отложил, как откладывал всё, что улавливал о старике, — почти нежны.

— Вот и он, — сказал старик. — Открывай, мальчик. Дверь уже открыта, но ты открой. Человеку нужно, чтобы дверь открыли.

Человек, который вошёл, пах рекой.

Не туманом — туманом пахли все, кто входил в лавку, туман был одеждой этого города, — а именно рекой: холодной, зеленоватой, затхлой водой, илом, ржавым железом причалов, мокрой пенькой, — хотя пальто на нём было сухим, и ботинки сухие, и зонт, который он держал, как держат трость, не пользуясь, был сухим. Это был высокий человек лет шестидесяти, когда-то, видно, красивый той тяжёлой, породистой красотой, которая идёт от роста и плеч и привычки, что тебе уступают дорогу; теперь красота эта осела, как оседает дом, которому не меняли стропил, — плечи остались, но несли они уже не человека, а что-то, что человек нёс в себе, и нёс давно, и разучился ставить на землю. Лицо его было лицом человека, который умеет смеяться, — у глаз лежали лучики морщин, выточенные смехом, — но давно не смеялся, и лучики эти выглядели теперь как трещины на фотографии: по ним можно было понять, где было лицо. Он был одет хорошо и старомодно; на жилете, на цепочке, не было часов — была пустая петелька, и пустота эта выглядела на жилете так, как выглядит на стене прямоугольник непопотемневших обоев там, где висела картина.

— Мистер Уэнлок, — сказал старик с табурета, не вставая. — Заходите. Вы промокли.

— Я не промок, — сказал человек автоматически, оглядывая своё сухое пальто, и тут же замолчал, потому что понял: не о пальто речь. Он стоял посреди лавки и смотрел — на полки, на сферы, тлеющие в глубине янтарными углями, на механическую птицу в клетке, на шахматную партию на краю стойки, недоигранную, — и глаза его, серые, когда-то, наверное, весёлые, делали то, что делали глаза всех, кто сюда входил: они искали в лавке то, за чем человек пришёл, и не находили, и от этого становились больше. — Вы знаете, как меня зовут.

— Я знаю, что вы промокли, — сказал старик. — Сорок лет как. Мальчик, стул.

Феяс поставил стул — старый, с продавленным сиденьем, обитым кожей цвета слабого чая, — и человек сел, и зонт поставил между колен, и обе ладони положил на набалдашник, и только теперь Феяс увидел его руки: большие, в пигментных пятнах, с узловатыми суставами, — и на правой, на указательном и среднем пальцах, старая, давняя, сглаженная годами мозоль в два пальца шириной, какая бывает у людей, всю жизнь тянувших верёвку. Людей с такими мозолями Феяс видел у лавки дважды; оба раза они пахли рекой.

— Джосайя Уэнлок, — сказал человек, не спрошенный, будто имя было вещью, которую полагалось положить на стойку, как кладут на прилавок товар, за который не надеются получить хорошую цену. — «Уэнлок и сыновья». Верфь у Черной стенки. Была. — Он усмехнулся, и усмешка бы-

ла натренированная, деловая, из прошлой жизни. — Теперь «Уэнлок и сыновья» — это я. Все сыновья — это я.

— Я знаю, — сказал старик. Он сидел на табурете маленький, сухой, в девяти карманах, и смотрел на клиента поверх очков, и лампа с закопчённым стеклом стояла рядом с его локтем, хотя света в зале хватало, и Феяс знал — он видел это уже много раз, — что разговор сейчас пойдёт по той канавке, по которой он шёл всегда: старик не спрашивал, что человеку нужно. Старик ждал, пока человек сам положит это на стойку. Это было правило старше всех правил, оно не было записано нигде, но лавка держалась на нём, как на сваях: желание нельзя было принести, как письмо, и вручить. Его можно было только выложить — самому, своими руками, целиком.

Джосайя Уэнлок молчал. За стеклом витрины шли обратно в туман немногие прохожие тупика — те, кто шёл сквозь, не видя лавки, и не видел её потому, что ещё мог не видеть, — и лавка стояла, и тиканье часов не вернулось, и в этой выключенной из времени тишине молчание клиента становилось всё тяжелее, как становится тяжелее вода в ведре, которое несут и никак не могут донести.

— У меня был брат, — сказал наконец Джосайя Уэнлок. — Гидеон. Младший. Два года моложе, и на все два года лучше меня. — Он произнёс это ровно, тоном человека, который произносил эту фразу много раз — себе, ночами, — и отчеканил её, как чеканят наконец формулировку,

которую понесут завтра в суд. — Отец держал верфь. Старые порядки: всё старшему. Я был старшим. Мне полагалась верфь, дом, имя на вывеске первым. Гидеону полагалось... — он шевельнул пальцами на набалдашнике, — полагалось быть моим помощником. Всю жизнь. Усмирять, помогать, таскать. А вышло так, что заказчики спрашивали Гидеона. Рабочие шли к Гидеону. Отец — отец стал подписывать бумаги со словами «покажи сперва Гидеону». Вы понимаете, что это такое — когда тебе положено всё, а люди, которые об этом не знают, отдают всё ему?

Он не ждал ответа. Старик не отвечал. Феяс стоял за стойкой с ровными руками и слушал, и в этом тоже состояла его работа: слушать, не помогая.

— А потом была Элис, — сказал Джосайя Уэнлок, и голос его на этом имени сделался чуть суше, как делается суше дорога после лужи. — Дочь лоцмана. Она выбирала между нами — все это знали, она сама это знала, она была честная девочка и мучилась этим, — и в ноябре она выбрала. Не меня. — Он помолчал. — В ту же неделю отец сказал мне, что меняет завещание. Не всё — долю. «Брату удобнее управлять, — сказал он мне, — а ты, Джосайя, ты умеешь терпеть, тебе можно меньше». Он сказал это как комплимент. «Ты умеешь терпеть». Сорок лет я слышу эту фразу. Сорок лет, и она до сих пор во мне, как штифт в доске.

Механическая птица в клетке шевельнулась. Только шевельнулась — переступила латунными пальцами по жердоч-

ке, — и Феяс отметил это, и старик отметил, а Джосайя Уэнлок не заметил, потому что смотрел теперь не на них и не на лавку, а на то, что нёс в себе сорок лет и наконец нес сюда, в тупик, которого нет на картах.

— Третьего ноября, тысяча девятьсот восьмой, — сказал он. — Ночь. Мы возвращались с заказчика вдоль реки, по старому причалу у Черной стенки. Туман. Доски обледенели — первый лёд в ту зиму, чёрный, его не видно. Мы говорили о завещании. Он сказал: «Я откажусь, Джос, я напишу отказ, мне не нужно первым». Он сказал это. Я помню каждое слово, потому что я сорок лет переписываю эту ночь, и каждый раз переписываю по-разному, и каждый раз она кончается одинаково. Он поскользнулся. Я это видел — я шёл в двух шагах. Он поскользнулся и ушёл в воду между причалом и баржей, туда, где вода чёрная и стоит, а не течёт, — и я стоял с концом в руке. У нас был конец, мы несли его с баржи, я нёс. Бечёвка, полтора дюйма, промасленная. Мне было — бросить. Мне было только бросить.

Он остановился. В лавке было так тихо, что Феяс слышал, как в глубине библиотеки, в дали, капает: раз, пауза, раз.

— Сколько? — спросил старик тихо.

— Одиннадцать секунд, — сказал Джосайя Уэнлок. — Я стоял и считал. Я понял это не сразу — понял через годы, когда перестал врать себе по мелочам: я не окаменел, не растерялся, не «не успел». Я стоял, и держал конец, и считал, и ждал, когда хватит. Когда будет достаточно, чтобы он понял.

Чтобы отец понял. Чтобы Элис поняла. Одиннадцать секунд — это много, мистер... я не знаю вашего имени. Это очень много. За одиннадцать секунд вода в ноябре берёт человека так, что не отдаёт. Когда я бросил конец — я бросил, перед следователем я бросал сразу, все бумаги это подтверждают, — когда я бросил, там уже никого не было. Вода была ровная. Понимаете? Ровная. Как будто никто и не падал. Туман, и ровная вода, и моё дыхание белым, и конец в руке, мокрый на ярд, — на ярд я его всё-таки мочил, для следователя было важно, что мокрый...

Он умолк. Механическая птица сидела неподвижно, и не пела.

— Вы сказали следователю правду, — сказал старик. — Бросали конец. Тонули вместе, почти. Вы едва не сошли с ума от горя. Вам верили. Вам было чему верить: вы ведь и сами себе почти верили.

— Почти, — сказал Джосайя Уэнлок. — Сорок лет — почти. — Он поднял глаза, и в них было то, ради чего люди находили тупик Чёрного Фонаря: не надежда — невозможность больше не надеяться. — Мне сказали, что здесь дают то, что просят. Не умею верить в это. Но я больше не умею не верить. Вот всё, что у меня есть.

— Что вы просите, — сказал старик. Это был не вопрос. Это была форма, и все в лавке знали, что это форма, и все соблюдали её, потому что лавка держалась на формах, как на сваях.

Джосайя Уэнлок встал. Он был высок, и, встав, он занял в лавке много места, как занимает много места всё, что слишком долго несли. Он полез во внутренний карман пальто — и Фейс увидел, как движение это выточено сорока годами: два пальца, в один угол кармана, — и вынул часы. Карманные, серебряные, потёмки пошли по ним пятнами, как идёт тля по листу. Крышка была открыта — или не закрывалась уже давно. Под стеклом не было воздуха. Под стеклом была вода — капля, две, плёнка, — и стрелки стояли в этой воде, чёрные, тонкие, на без тринадцати двенадцать.

— Это его часы, — сказал Джосайя Уэнлок. — Они были на нём. Их вынули, когда... когда его вынули. Мне отдали. Следователь сказал: «Механизму конец, мистер Уэнлок», — а они идут. Они не идут, но они идут: раз в год, в ночь на третье ноября, секундная делает один шаг. Один. Я сорок раз это видел. Я каждый год сижу над ними всю ночь, и каждый год — один шаг. — Он держал часы на ладони, и рука его не дрожала, потому что дрожать ей было уже незачем: она несла эти часы сорок лет и несла их ровно. — Я хочу оказаться там. В ту ночь. И изменить. Бросить конец сразу. Вытащить его. Чтобы он жил — завещание, Элис, верфь, всё, всё пусть будет его, как оно и шло к нему через мой труп, — я хочу оказаться там и изменить. Вот моё желание. Возьмите за него что берут.

Старик снял очки. Он делал это редко — Фейс мог пересчитать эти разы, — и делал это только тогда, когда желание

лежало на стойке целиком, вываленное, как сердце на весах.

— Сядьте, мистер Уэнлок, — сказал старик. — И слушайте. Слушайте меня так, как вы слушали следователя, только внимательнее.

— Правила три, — сказал старик, и поднял палец, сухой, с пятнами, похожими на следы сургуча. — Первое. Плата заранее. Всегда заранее, у всех, без исключений. Мы берём часть души — треть весом, не больше и не меньше, — и берём до того, как дверь открыта, и не возвращаем ни при каком исходе. Вы понимаете: ни при каком. Если вы вернётесь — плата останется у нас. Если не вернётесь — тем более. Если дверь даст вам не то, чего вы хотели, а ровно то, что вы просили, — а это одно и то же реже, чем вам кажется, — плата останется у нас. Это не жестокость. Это весы. Кто-то должен держать весы, мистер Уэнлок, и тот, кто держит весы, не имеет права подмигивать.

— Я понимаю, — сказал Джосайя Уэнлок.

— Второе, — сказал старик. — Дверь даёт ровно то, что попросили. Ровно. Слово в слово. Поэтому вы сейчас повторите ваше желание ещё раз, и медленно, и я буду слушать его, как слушают чек на крупную сумму. Вы просили: оказаться там и изменить. Так?

— Так.

— Вы не просили: спасти его, — сказал старик. — Вы не просили: чтобы он жил. Вы не просили: вернуться обратно. Вы просили — оказаться там и изменить. Я спрашиваю вас, и это единственная услуга, которую я оказываю бесплатно:

вы понимаете, чем отличаются эти формулировки?

Джосайя Уэнлок смотрел на него сквозь серый шерстяной свет витрины. Лучики-трещины у его глаз лежали неподвижно.

— Понимаю, — сказал он. — Я сорок лет составлял эту фразу. Вы думаете, я пришёл сюда с просьбой «спасти»? Я знаю, чего стоят просьбы. Я часовщиков не нанимал — я сам себе был часовщиком: я сорок лет разбирал эту ночь на колёсики. «Спасти его» — это просьба о нём. «Оказаться там и изменить» — это просьба обо мне. Мне нужно оказаться там. Мне нужно, чтобы тот, кто стоит с концом на причале, бросил его. Понимаете? Не чтобы Гидеон всплыл — он не всплывёт, вода в ноябре не отдаёт, я знаю реку, я на ней вырос. Чтобы конец был брошен. Чтобы человек с концом сделал то, что должен был сделать. Пусть дальше река решает. Пусть река. Но чтобы конец был брошен.

Феяс слушал и чувствовал, как где-то под ложечкой, в том месте, которое у него всегда было пустым, как выметенная комната, шевельнулось что-то — не жалость, нет, жалость он знал, жалость была рабочим чувством, как сургуч и перья, — а что-то более тихое и более холодное: узнавание. Он не знал, что он узнаёт. Он отложил это, как откладывал всё.

— Третье, — сказал старик. — Вы пойдёте туда не один. Помощник проводит вас до двери, откроет её и войдёт с вами. Он будет рядом. Вы его не всегда будете видеть — там, куда вы пойдёте, вы оба будете меньше, чем здесь, — но он

будет рядом, и вы будете делать то, что он говорит, когда он говорит. Это не условие сделки. Это условие вашего возвращения.

— Я вернусь? — спросил Джосайя Уэнлок.

Старик посмотрел на него поверх очков, которые так и держал в руке.

— Я не лгу клиентам, — сказал он. — И мой помощник не лжёт. Это четвёртое правило, и оно единственное, которое мы записали бы на двери, если бы писали на дверях. Я не знаю, вернётесь ли вы. Это знает дверь. Я знаю другое: вы получите ровно то, что просили. Все получают. — Он надел очки. — А теперь скажите мне, мистер Уэнлок, скажите, не спеша: вы всё ещё этого хотите?

— Да, — сказал Джосайя Уэнлок.

— Вы понимаете, что прошлое — не комната? Что оно не стоит за дверью, как стоит склад? Что то, что вы увидите, будет не тем, что было, а тем, что помнит вода?

— Я сам стал водой, — сказал Джосайя Уэнлок. — Сорок лет назад. Мне не страшно, что она помнит. Мне страшно, что она помнит лучше меня.

Старик кивнул — так кивал он, когда клиент наконец говорил настоящее, — и спустился с табурета, маленький, сухой, в девяти карманах.

— Плата, — сказал он. — Потом дверь. Мальчик — веер.

3а

Плата изымалась у стойки, при свечах, и каждый раз это делалось одинаково, и каждый раз это делалось иначе, потому что одинаковыми были руки, а иной была душа.

Феяс принёс из ниши веер — не веер: так старик называл прибор, потому что раскрывался он, как веер: семь тонких пластин чёрного стекла на медной оси, и каждая пластина была в царапинах, и царапины эти складывались, если смотреть долго, во что-то похожее на карту звёздного неба, только неба не того, — и поставил его на стойку, и развернул. Потом он принёс янтарный пузырьрёк — не гранёный, гладкий, тёплый, как всегда, будто его только что вынули из-под чьей-то рубашки, — и тканую салфетку, и стал ждать, прижав пузырьрёк к груди, как он прижимал каждую сферу, уже вынутую, — ждал, пока старик говорил клиенту то, что говорил всегда, тихо и скучно, как читают правила пожарной безопасности в театре: не дышать глубоко, не считать, не вспоминать о нём в момент изъятия, если станет холодно — терпеть, холодно будет недолго.

— Кому-то больно, — говорил старик. — Кому-то щекотно. Одна дама смеялась. Один человек заплакал, но он и до этого хотел, ему было можно. У вас будет по-вашему. Готовы?

— Давно, — сказал Джосайя Уэнлок.

Старик положил ему ладони на грудь — сухие, маленькие ладони, — и постоял так, и глаза его за железными стёклами смотрели не на клиента, а сквозь, туда, где у человека за рёбрами лежит то, чему нет анатомического названия, — и Феяс смотрел, как смотрел всегда, и ждал, и веер из чёрного стекла тихо, на грани слышимости, позвякивал, настраиваясь, как настраиваются струны.

— Треть весом, — сказал старик. — Не больше. Всегда не больше.

Он вынул.

Это не было похоже ни на что из того, что Феяс делал наверху, и было похоже на всё сразу: на то, как вытягивают нить из рыхлой ткани, на то, как вынимают из воды руку, не всплеснув, на то, как вздыхает человек, который хотел заплакать и передумал. Из груди Джосайи Уэнлока, сквозь пальто, сквозь жилет с пустой петелькой, сквозь рубашку, не нарушив ничего, не оставив дыры, — потому что душа не в теле, душа вокруг него, как вокруг лампы свет, и брать её надо, как берут свет: ладонью, — старик вынул светлое, тёплое, тяжёлое, и светлое это сопротивлялось ровно столько, сколько сопротивляется то, что знает: так надо. Веер позвякивал. Пластины дрожали. Джосайя Уэнлок стоял с открытыми глазами и не дышал, а потом вдохнул — и вдох его был другим: Феяс слышал это. Так дышит дом, из которого вынесли пианино.

Сфера легла в янтарный пузырьёк сама, как ложится в ко-

лыбель то, что устало. Стекло и дым, — только дым в этой сфере был другой: в нём, в глубине, медленно, не спеша, как вода в ноябре, переливалась вода. Тёмная, зеленоватая, с одной светлой точкой, похожей на отражение фонаря. Феяс прижал сферу к груди — она была тёплая, все сферы были тёплые, но тепло этой было теплом воды, которую долго грела чья-то рука, — и на миг, на один только миг, ему показалось: он слышит свист. Низкий, в два пальца, мальчишеский свист, каким свистят, подзывая брата через двор.

— Спи, — сказал Феяс сфере, тихо, как говорил всегда.

Сфера потеплела и затихла. Вода в ней перестала переливаться и стала.

— Тепло, — сказал Джосайя Уэнлок. Он смотрел на сферу в руках Феяса, и лицо у него было лицо человека, у которого что-то отняли и кто не может вспомнить, что именно, и знает только, что это было его и что это было ему дорого. — Это... она?

— Часть, — сказал Феяс. — Третью весом.

— Она тёплая.

— Они все тёплые, — сказал Феяс. — Это не одно и то же — тёплая и живая. Но они все тёплые.

— Я думал, будет холодно, — сказал Джосайя Уэнлок и вдруг усмехнулся, той самой натренированной, деловой усмешкой из прошлой жизни, и усмешка эта пролегла по его лицу, как пролегает солнце по стене дома, который сносят. — Смешно. Я сорок лет носил воду в кармане, а думал, что

холодно будет у вас.

Старик завинтил пузырёк крышкой из тёмного стекла и подписал ярлычок — чернилами цвета грозового неба, ровным старомодным почерком, — и Феяс прочитал, читая вверх ногами, как умел: «УЭНЛОК. Река. Ночь. Просит быть там». Не «Джосайя», не «брат», не «изменить». Старик подписывал сферы так, как подписывают экспонаты: коротко и без жалости.

— Теперь дверь, — сказал старик. — Мальчик, ключи. Все шесть.

Феяс снял кольцо с крюка — дерево вокруг крюка было чёрным, как чернеет вокруг старой раны, — и шесть ключей легли в его ладонь знакомым весом: соляной, длинный и тёплый; бронзовый, чуть липкий; синий, холодный всегда; войлочный, мягкий, как ключ от чужого сна; костяной, новый замок, новая борода; маленький, размером с ноготь, от дверцы по колено, которую он всегда приветствовал поклоном. Шесть. Седьмого не существовало.

Старик сунул руку в девятый карман.

Он делал это медленно, и Феяс видел — лавка видела, лавка всегда видела, — как по рядам сфер, по янтарным пузырькам, по тлеющим уголькам чужих душ, прошла волна внимания, как по траве идёт волна от шага. Старик вынул руку из девятого кармана, и на его маленькой сухой ладони лежал ключ, которого не было.

Он был длинный, тонкий, цвета не металла — цвета тем-

ноты, отполированной до блеска. Бородка его была похожа на зубцы и на стрелки часов сразу, а кольцо — на циферблат без цифр. Он не блестел: он поглощал свет ровно настолько, чтобы быть видимым, как бывает видна пропасть в полу — не по цвету, по тому, что в ней нет ничего. От него не пахло рекой. От него пахло комнатой, в которой давно никого не было, — запертой комнатой, мебельным чехлом, пылью на пианино.

— Седьмой, — сказал Феяс.

— Не седьмой, — сказал старик. — Седьмого нет, ты помнишь верно. Этот — не считается. Он не от двери — он от случая. Дверь пришла ночью, ключ пришёл с ней; утром после клиента их обоих не будет, и кольцо снова будет честным, шестиключным, и ты снова будешь прав: седьмого не существует. — Он положил ключ в ладонь Феяса, и ключ был холодный — не как синий, не внимательным холодом, а холодом заброшенности, холодом вещи, которую забыли на подоконнике на сорок зим. — Не грози им. Не верти. Он не любит, когда его рассматривают, как не любит никто, кого не существует.

— А вернётся он? — спросил Феяс, кивая на клиента.

Старик посмотрел на него долго.

— Ты с каждым разом задаёшь этот вопрос раньше, — сказал он. — Раньше ты спрашивал после. Теперь — до. — Он снова сунул руки в карманы, и стал совсем маленьким, совсем сухим, совсем старым. — Веди, мальчик. Дверь ждёт.

Прошлое нетерпеливо — это единственное, что в нём нетерпеливо.

В дали библиотеки пахло рекой так, как пахнет у реки в ночи: не водой — берегом, илом, ржавчиной, мокрой пенькой, дёгтем.

Феяс шёл впереди со свечой, и ключи были у него на кольце, и седьмой, которого не было, лежал в отдельном кармашке жилета, на самом теле, и от него по коже расползлся холод, как расплзается по стеклу морозный узор. За ним шёл Джосайя Уэнлок — Феяс слышал его шаги, тяжёлые, ровные, шаги человека, который сорок лет шёл по одному коридору и наконец дошёл до его конца, — и не оборачивался. Он никогда не оборачивался, пока вёл. Это было правило, которого не было в списке, но оно было старше списка: проводник не оборачивается. Тот, кто ведёт по минному полю, смотрит на минное поле.

Библиотека провожала их — Феяс чувствовал это кожей между лопаток, как чувствуют взгляд. Незванные гости в верхних ярусах не шевелились, и это было хуже любого шевеления: они притворялись пылью, а пыль не притворяется никогда, пыли это не нужно. У ряда П, где стояла новая сфера Пламба — Феяс проходил мимо неё каждый день и каждый день слышал, как золото в ней прибывает, тихо и навсегда, — две маленькие светящиеся точки в темноте между корешками проводили клиента и погасли, не моргнув. У

двери зеркал Феяс замедлил шаг на полшага, не больше: рама из спрессованной соли светилась в темноте дали слабым мёртвым светом, и в глубине стекла, там, где полагалось отражаться им двоим со свечой, отражение запаздывало — и когда оно пришло, в нём стоял не шестидесятилетний человек в хорошем старомодном пальто, а молодой, в долгополом, с узлом верёвки на плече. Зеркало уже знало. Зеркала всегда знали раньше — в этом состояла их работа и их подлость. Феяс не сказал клиенту; помощник не лжёт клиентам, но помощник и не обязан читать вслух всё, что пишут двери. У маленькой дверцы по колено — той, что была не для них, — Феяс, как всегда, едва заметно поклонился, и дверца ответила: из-за неё, с той стороны, куда не полагалось смотреть людям их размера, стукнули — один раз, коротко, как стучат костяшкой пальца в стекло, когда хотят, чтобы обернулись. Джосайя Уэнлок вздрогнул — Феяс услышал это по шагам, — но не спросил, и Феяс не объяснил. А у двери глубокого синего, которую Феяс не любил и которая знала это, было тихо так, как бывает тихо у реки: два замка её блестели холодом, и вся она стояла чуть наклонившись, как стоит тот, кто слушает, и с той стороны — Феяс не остановился, но отметил, — с той стороны кто-то шёл вровень с ними, шаг в шаг, по ту сторону доски, и шаги эти были босые.

Даль изменилась.

Вчера здесь было семь дверей — Феяс знал их все, как знал шесть ключей: дверь зеркал в раме из спрессованной

соли; бронзовая с ручкой-рукой; глубокого синего с двумя замками; войлочная, для тех, кто просит тишины; костяная; маленькая, по колено; и своя, седьмая, прямоугольник более глубокой темноты, которого не открывал никто и никогда. Сегодня их было восемь.

Восьмая стояла там, где вчера стояла стена между костяной и маленькой, — и стояла она так, как стоят вещи, которые были всегда: без трещин в штукатурке времени, без следов монтажа, с плинтусом, чёрным от восьмидесяти лет мыслимых ног. Она была высокая, выше двери зеркал, и была она сделана из дерева, которое когда-то плавало: тёмные, вымоченные доски с остатками дёгтя в порах, с медными заклёпками, позеленевшими, как зеленеет медь на дне, — дерево затонувшего пакетбота, дерево, которое помнило воду и не собиралось забывать. И в этом дереве, как раковины в борте, выросли часы.

Их было много. Будильники и ходики, карманные луковички и стационарные циферблаты, крошечные женские часики, похожие на пуговицы, и большие, палубные, в латунных бортиках, — десятки, и каждые выросли в дерево по-своему: одни наполовину, как выросшее в забор железо, другие — только краем, третьи утопились почти целиком, и только стекло смотрело из дерева, как смотрит иллюминатор из-под воды. Дерево обошло их всех, обтекло, закрыло собой их кожухи, их заводные головки, их тыльные крышки с дарственными гравировками, — дерево приняло их, как принимает всё, что

в него вырастает, и Феяс поднял свечу повыше и увидел: все часы стояли. Все. Десятки механизмов, десятки мёртвых и живых когда-то сердец, — и все стрелки всех циферблатов стояли на без тринадцати двенадцать.

— Одиннадцать сорок семь, — сказал за его спиной Джосайя Уэнлок. Голос его был ровный, и в ровности этой было больше крика, чем бывает в крике. — Так стоят его часы. Сорок лет — так.

— Так стоят все, — сказал Феяс. — Дверь знает время. Она всегда знает время того, кто пришёл.



Дверь в прошлое

Под дверью, по плинтусу, темнела вода. Не лужа — полоса, в палец шириной, и она не растекалась, а стояла, как стоит вода в рельсе, — и когда Феяс поднял свечу, полоса эта отразила пламя, и отражение дрогнуло, хотя вода была ровной, и дрогнуло оно не от пламени: оно дрогнуло, как дрожит то, что слышало своё имя.

— Правила пути, — сказал Феяс. Он говорил их каждому, и каждому — разные, потому что у каждой двери были свои, — и говорил он их тем ровным, скучным голосом, каким старик читал правила при изъятии, потому что страх лучше ходит за скучным голосом, чем за торжественным. — За этой дверью вы будете тенью. Не призраком — тенью: вы будете видеть, слышать и помнить, но вас не будет там, где вы будете. Прошное впускает тенями. Это первое и главное: вы можете смотреть. Вы не можете касаться.

— А если коснуться? — спросил Джосайя Уэнлок.

Феяс не ответил сразу. Он смотрел на часы, вросшие в дерево, на без тринадцати двенадцать, повторённое десятки раз, и думал — не в первый раз, — что двери всегда предупреждают честно, просто честность их похожа на загадку, как похожи на загадки надписи на аптекарских бутылках.

— Я не знаю, — сказал он, и это была правда, чистая, как стекло: помощник не лжёт клиентам. — За мою работу здесь

никто не касался. Прошлое не любит прикосновений, как не любит их фотография: на неё остаются пальцы. Я знаю только это: коснётесь — изменится не то, к чему вы прикоснулись. Изменитесь вы. Касающегося переписывает. Так лавка говорит о таких дверях — «переписывает», как переписывают страницу, на которой слишком много помарок.

— Переписывает, — повторил Джосайя Уэнлок. — Кем?

— Собой, — сказал Феяс. — Всегда собой. Двери не вводят никого извне. Всё, что в них происходит, происходит из вас.

Он поднял свечу ещё выше и посмотрел клиенту в лицо — он редко это делал, но делал всегда перед дверью, потому что перед дверью он должен был видеть лицо, чтобы знать, какое лицо искать потом, в темноте, если всё пойдёт как идёт, — и сказал:

— Третье. Там будет звать. Прошлое зовёт голосами, и голоса эти будут знакомыми, потому что все голоса там — ваши: то, что вы помните, то, что вы выдумали, то, что вы сорок лет переписывали. Не отвечайте. Ни одному. Даже если позову я — не отвечайте, пока не увидите меня. Я буду рядом. Вы меня не всегда будете видеть, но я буду рядом.

— А вы? — спросил Джосайя Уэнлок. — Вас оно позовёт? Чьим голосом?

— Никаким, — сказал Феяс. — У меня нет знакомых.

Он вынул из кармашка ключ, которого не было. Ключ лёг в его ладонь холодом заброшенности, и часы в дереве — все

десятки, все до одного — дрогнули: не стрелки — сами циферблаты, как дрожат зрачки, когда поворачивается голова. Замочной скважины в двери не было. Была воронка тёмного дерева, узкая, как старый шрам, и Феяс вставил ключ в неё, не глядя, — он никогда не смотрел на замки, когда открывал; замки обижались, — и повернул.

Повернулось не дерево. Повернулось время в замке — Феяс почувствовал это ладонью: ключ пошёл туго, с сопротивлением ржавой пружины, и под его пальцами, в глубине механизма, что-то медленно, нехотя, со скрежетом сорока лет, пошло назад. Все часы в двери разом тикнули — один раз, как тикают часы, которые вспомнили, что они часы, — и дверь открылась внутрь, в темноту, из которой пахнуло ноябрем.

За порогом стояла ночь.

Не коридор, не комната — ночь: туман, чёрный воздух, где-то невидимая и близкая вода, и холод такой плотности, какая бывает только у воды в месяце, когда решается, кому жить до весны. И на пороге этой ночи, отделяя библиотечный пол от мостовой той, сорокалетней, лежала цена.

Она была рыжей. Полоса ржавчины, в волос толщиной, шла поперёк порога от косяка к косяку — и не по камню, а по воздуху, держась сама, как держится уровень воды в сифоне, — и в ржавчине этой, приглядевшись, можно было различить мелкое, механическое, почти красивое: зубчики, пружинки, обрывки стрелок, весь тот мелкий прах, которым

умирают часы.

— Цена, — сказал Феяс. — У каждой двери своя. Эта — та же, что у всех, но берёт она её по-старому: не линией — кругом. Всё, что касается времени, любит круг.

Он достал нож — маленький, с костяной ручкой, который старик дал ему давно, сказав: «Для дверей. Не для людей», — и провёл лезвием по ладони, по той, где уже лежали буквы несуществующего алфавита, старые, зажившие, и новая, вчерашняя, от двери зеркал, ещё розовая. Кровь пошла сразу — тёмная, тяжёлая, медленная, как идёт мёд, — и Феяс капнул ею на рыжую нить, и нить замкнулась: полоса ржавчины дрогнула, изогнулась концами навстречу друг другу, как изгибается гусеница, и стала кольцом, и внутри кольца темнота прошлого стала чуть менее твёрдой, чуть более похожей на проход. Кровь на ржавчине задымилась — тонко, синевато, как дымит жертва, которая принята неохотно, — и от запаха этого дыма, железного и сладкого, у Феяса, как всегда, на миг свело зубы.

Рана на ладони уже затягивалась. Они всегда затягивались сразу, его раны, — и под кожей, под смыкающейся плотью, новая буква вписывалась в старые, и Феяс чувствовал это, как чувствуют зубами написанное на них слово: не больно — занято.

— Пойдёмте, — сказал он и переступил кольцо. — И помните: смотреть можно. Касаться — нельзя. Что бы вы ни увидели. Что бы ни увидел я.

Они вошли, и дверь за ними закрылась беззвучно, как закрывается вода.

Прошное приняло их, как принимает туман: не сразу и не целиком — сначала ноги, потом тень, потом всё остальное. Феяс шёл первым, и свеча его горела ровно и низко, и пламя её было странного цвета — того самого, каким горит свеча на фотографии: вроде бы яркое, а не греет и не колыхается, потому что колыхать его некому. Джосайя Уэнлок шёл следом, и Феяс слышал его дыхание — тяжёлое, сорок лет ношеное, — и слышал, как дыхание это стало другим: легче. Моложе. Тень, которой входили в прошлое, не несла в себе года — годы оставались по эту сторону, в лавке, на вешалке.

Они стояли на набережной. Или на том, что прошлое держало вместо набережной: туман стоял стеной, серой и шерстяной, и в этом тумане проступало — не всё, а только то, что помнила вода: чугунные леера, всклокоченные мокрым инеем; брусчатка, чёрная, жирная от вечной сырости; газовый фонарь, который горел рыжим дрожащим ядром, и свет его не расходился, а стоял вокруг него колодцем; и дальше, за колодцем света, угадывался причал — старые сваи, обшивка, лестница, уходящая вниз, в чёрное, туда, где вода лежала ровная, как лежит на столе мрамор. Звуков не было. Туман глушил их, но не до конца — до конца их глушило дру-

гое: Феяс чувствовал это затылком, как чувствуют сквозняк: ночь была не живая. Она была хранимая. Всё в ней стояло так, как стоят вещи в комнате умершего, которую решили не трогать.

— Где... — начал Джосайя Уэнлок, и голос его прозвучал странно: молодо.

Феяс поднял руку. И указал — не вперёд, а вверх, на фонарь, и только теперь клиент увидел: над рыжим ядром света, в стекле фонаря, внутри, крылом к стеклу, сидела бледная моль. Нет — не моль: у моли бывает пыль на крыльях, а у этого крылья были мокрые, сосочковые, как кожа у новорождённой мыши. Оно сидело и смотрело на них обоих — без глаз, всей своей мокрой бледностью, — и Феяс медленно, не спеша, опустил руку и приложил палец к губам.

Оно отвернулось. Или перестало быть.

— Здесь живут приживалы, — сказал Феяс тихо, и голос его в этой хранимой ночи звучал, как звучит голос в склепе. — Прошное не бывает пустым, мистер Уэнлок. То, что не может случиться заново, всё равно должно чем-то быть занято. Они гнездятся в минутах, которые нельзя изменить. Они питаются тем, что всё осталось как было. Не смотрите им в... туда, где у них должны быть глаза. И не слушайте.

— Слушать? — спросил Джосайя Уэнлок. — О чём вы?

И тут Феяс услышал это сам: далеко, сквозь туман, сквозь сорок лет, тонко и молодо свистнули. В два пальца, мальчишески, — так свистят, подзывая брата через двор. Свист по-

вторился. В нём не было ничего страшного — в нём было всё страшное, потому что он был живой, единственный живой звук в этой хранимой ночи, и он звал.

— Не отвечайте, — сказал Феяс.

— Это он, — сказал Джосайя Уэнлок. Голос его дрогнул, и в дрожи этой было сорок лет. — Это его свист. Он так... он всегда так... мы мальчишками...

— Это не он, — сказал Феяс. — Это прошлое. Оно знает вашу память лучше вас, потому что вы её переписывали, а оно — нет. Слушайте меня. Идём. Они уже здесь — те, кого вы пришли увидеть. Я чувствую.

Он чувствовал: двое шли по набережной сквозь туман, и шаги их не звучали — они происходили в памяти, а память звучит иначе: тише и ближе к костям. Феяс пошёл навстречу шагам, мимо фонаря, мимо лееров, вдоль чёрной воды, и Джосайя Уэнлок шёл за ним, и туман смыкался за ними, и бледные мокрые бабочки садились на чугун и смотрели вслед, безгласые, терпеливые, сытые.

А потом туман разошёлся — не разошёлся: лёг на миг удобнее, — и на причале, у самой лестницы в чёрную воду, стояли двое.

Высокие, молодые, в долгополых пальто того года, который давно стал счётом в архиве. Один — чуть выше, с узлом верёвки на плече, с концом в руке, с лицом, которое Феяс уже видел сегодня: тем же, только гладким, без трещин-лучи́ков, сорока годами легче. Другой — чуть шире в плечах,

с смеющимися глазами, с серебряной цепочкой на жилете, на которой, качаясь, висели часы. Они спорили — Феяс видел по лицам, по рукам, — но звука не было: ночь хранила и звук, но подавала его не сразу, как подают с чужого конца провода, — и только через мгновение до них долетело, молодое и далёкое:

— ...не нужно первым, Джос. Я напишу отказ. Завтра же. Я...

И тут же, ближе, тише, у самого плеча Феяса, кто-то прошептал — голосом Джосайи Уэнлока, тем, сорокалетним, стойки:

— Смотри, мальчик. Смотри, вот он я.

Феяс не обернулся. Проводник не оборачивается. Но рядом с ним, там, где стояла тень его клиента, воздух стал другим — горячим и сорванным, — и Феяс понял, что клиент смотрит. Смотрит на себя, молодого, с концом в руке, в двух шагах от брата, в одиннадцати секундах от сорока лет.

— Не сходите с места, — сказал Феяс. — Что бы ни случилось. Прошное любит, когда тень сходит с места. Оно для этого и зовёт.

— Я пришёл сюда не стоять, — сказал Джосайя Уэнлок очень тихо. — Я пришёл сюда изменить.

— Вы пришли оказаться здесь, — сказал Феяс. — Вы здесь. Смотрите.

И Джосайя Уэнлок смотрел. И ночь, хранимая, терпеливая, гнилостно-сладко пахнущая рекой, начала происходить.

Сначала были слова — они долетали с опозданием, как долетает свет с чужих звёзд, и поэтому губы молодых шевелились не в лад со словами, и от этого вся сцена была похожа на тот сон, где понимаешь речь, не слыша её.

— Отец не понимает, что делает, — говорил молодой Джосайя, и Феяс слушал его и видел двух Джосайи разом: одного, молодого, на причале, с концом на плече, с горечью, ещё свежей, ещё не прокисшей, — и другого, рядом с собой, тень, воздух, сорок лет. — Он болен. Ему сказали, что управлять будешь ты, и он поверил, потому что ему удобно верить. «Ты умеешь терпеть». Тебе можно меньше, потому что ты умеешь терпеть, — вот вся арифметика, Гид. Слышишь? Вся.

— Джос, — сказал Гидеон, и даже по этому одному слову, долетевшему с запозданием, было слышно, что он младший: он ещё верил, что разговором можно что-то исправить. — Я откажусь. Я сказал — я напишу отказ, завтра, при тебе, при отце. Мне не нужно первым. Мне вообще не нужно это проклятое «первым». Элис...

— При Элис тоже напишешь отказ? — спросил молодой Джосайя.

И вот тут Феяс увидел — он был проводником, он был обучен видеть то, что не полагается видеть проводнику, по-

тому что от этого зависело, кого он ведёт, — он увидел, как тень рядом с ним, тень старого Джосайи, качнулась. Не от слов — от интонации. Сорок лет этот человек помнил свои слова; сорок лет он переписывал их, подчищал, ставил запятые; и вот теперь он услышал их так, как они были сказаны на самом деле, — и в них было не горе и не гнев. В них был расчёт, тонкий, как бритва, и старый, как грех.

Гидеон не ответил. Он сделал то, что делают младшие, когда старший говорит бритвой: он шагнул ближе, чтобы взять брата за рукав, чтобы сказать ему что-то в лицо, тихо, по-мальчишески, как они умели когда-то, — и подошва его пошла по чёрному, первому, невидимому льду, и пошла не туда.

Феяс видел это много раз — дверь давала ровно то, что просили, и просили всегда одно, — но он смотрел, как смотрел всегда: до конца, потому что это была его работа. Молодой Гидеон Уэнлок не упал, как падают в рассказах, — с криком, с взмахом. Он ушёл из-под себя, мгновенно и нелепо, как уходит стул, — взмахнул руками, не за воздух — за брата, пальцы его скользнули по пальто молодого Джосайи, по мокрому сукну, — и был в воде между причалом и баржей, туда, где вода стояла чёрная и не текла, и всплеска почти не было, потому что ноябрьская вода не всплёскивает: она принимает.

Звук догнал ночь через мгновение: гулкий, мягкий, поздний.

А потом началось то, ради чего сюда приходили. Ради чего платили заранее.

Молодой Джосайя стоял с концом в руке. Бечёвка, полтора дюйма, промасленная, — Феяс видел её так ясно, как видят вещи, на которых сошлась чья-нибудь жизнь: видел пенный ворс, видел тёмную от дёгтя полосу, видел, как конец лежит в ладони удобно, как лежит всё, что носили целый день. Из воды, из чёрного, ударила вверх рука — одна, — и голова, и Гидеон не кричал: ноябрьская вода забирает голос первым делом, она холоднее, чем крик. Он нашёл брата глазами. Он нашёл конец в руке брата глазами.

И молодой Джосайя стоял.

Феяс смотрел на его лицо — он должен был, это было его работой: смотреть, — и на лице этом, молодом, гладком, без трещин-лучиков, он увидел то, что приходил сюда увидеть старый Джосайя, и то, чего старый Джосайя приходил сюда не увидеть. Не злорадство — злорадство было бы милосердно, злорадство было бы человеческим. На лице молодого Джосайи, на одну секунду из одиннадцати, было облегчение. Так выглядит человек, у которого болел зуб сорок дней и вдруг перестал; так выглядит человек, который годами таскал камень и вдруг понял, что камень можно не таскать. Оно было на одну секунду, и за одну секунду Феяс прочитал его целиком, потому что оно было написано просто, как пишут на заборах: «теперь — я». Верфь — я. Завещание — я. Первым — я. Элис...

Секунда прошла. Облегчение ушло, и на его место пришёл ужас — настоящий, честный, — потому что человек сложнее забора, и молодой Джосайя качнулся к воде, и рука его с концом приподнялась, — но вода в ноябре берёт человека за одиннадцать секунд, а ужас пришёл на одиннадцатой.



Одиннадцать секунд

Конец бросили в воду, где уже никого не было.

Вода была ровная. Туман, и ровная вода, и белое дыхание молодого человека, стоящего на коленях у кромки, и конец, лежащий на чёрной воде пустой, аккуратной, мокрой на ярд петлёй, — и ночь, хранимая, терпеливая, держала это так, как держат под стеклом то, что больше не случится никогда.

— Я бросал, — сказала рядом тень старого Джосайи. Голос у тени был молодой, а ломался он по-старчески. — Следовательно... в протоколе... я бросал, мальчик. Ты видишь — я бросал.

— Вижу, — сказал Феяс.

— Я не мог... я не знал, что вода берёт так быстро. Я не знал. Мне двадцать один год, я не знал реку так, как знаю теперь, — я...

— Мистер Уэнлок, — сказал Феяс, и голос его был ровный и скучный, как всегда, когда он говорил главное, — я не следователь. Я не священник. Я помощник. Я не лгу клиентам — и не даю клиентам лгать при дверях, потому что двери это слушают. Вы стояли и считали. Вы сказали это сами, там, за стойкой. Здесь — только то, что было. Не то, что вы помните, и не то, что вы придумали. Смотрите.

— Зачем? — спросила тень. — Зачем ты мне это показываешь? Я знаю. Я сорок лет это знаю.

— Затем, что вы просили оказаться здесь, — сказал Феяс.
— Вы здесь. Это и есть «здесь». Не туман, не причал. Вот это.

Он не сказал остального. Он редко говорил остальное; но теперь, глядя, как тень его клиента стоит над ровной водой сорокалетней давности, он подумал — медленно, как думал всегда, потому что мысли в нём были глубокие и шли со дна, — подумал о том, что грех не гниёт в человеке. Люди говорят: гниёт. Неправда. Человек гниёт вокруг греха, как дерево гниёт вокруг забитого в него гвоздя: гвоздь остаётся, гвоздь железный, гвоздь не меняется, — дерево меняется, дерево растёт корой вокруг железа, строит из себя вокруг него, и с годами вся форма дерева — это форма вокруг гвоздя. Сорок лет этот человек растил себя вокруг одиннадцати секунд. Верфь он построил вокруг них, и семью, которой не было, и подпись на бумагах, и манеру смеяться. А теперь пришёл сюда — не за братом. Феяс понимал это так ясно, как понимал всё, что касалось желаний: люди никогда не приходят за тем, о чём просят. Люди всегда приходят за собой. За той секундой, где они были другими, — или за той, где они были собой впервые. Этот пришёл за одиннадцатью секундами, чтобы встать в них и наконец пошевелиться. И дверь, честная, как скальпель, даст ему ровно это.

Приживалы слетелись, когда тень старого Джосайи сделала первый шаг.

Феяс увидел их краем глаза — так их и полагалось видеть, — и вздрогнул внутри себя, в той глубине, где у него было что-то, умеющее вздрагивать: их было много. Они снимались с чугуна лееров, со стекла фонаря, с чёрных досок причала, где сидели, притворяясь инеем, — мокрые, бледные, сосочковые крылья, тельца, похожие на обгрызенные миндальные ядра, и у каждого — Феяс знал это, не видя, потому что лавка рассказывала ему такие вещи ночами, — у каждого вместо рта был маленький, идеальный, человеческий рот. Они не нападали. Нападать было не их работой. Их работой было помогать прошлому оставаться прошлым — и для этого у них было оружие лучше зубов: у них были голоса.

— Джос, — сказал туман слева, голосом Гидеона, молодым, смеющимся. — Джос, конец, бросай конец.

— Не слушайте, — сказал Феяс.

— Я же сказал: я откажусь, — сказал туман справа, тем же голосом, и в голосе этом была та самая виноватая нежность младших, которая разъяряет старших сильнее крика. — Завтра, при отце. Ты только не молчи так. Ты когда молчишь — ты страшный, Джос.

— Не слушайте, — сказал Феяс. — Это не он. Это ваши

сорок лет, мистер Уэнлок. Они здесь как дома. Они здесь и жили.

— А я где жил? — спросила тень старого Джосайи. И это был не вопрос к Феясу.

Приживалы облепили сцену, как облепляют мухи падаль. молодой Джосайя стоял над водой, и вокруг него, на досках, на пустой петле бечёвки, на его собственном опущенном плече, сидели бледные, и смотрели своими человеческими ртами, и шептали. Их шёпот не был словами — он был тем, что стоит под словами: тем тихим, липким, осмысленным звуком, каким по рёбрам стучит вода. Феяс чуял, как ночь, хранимая, терпеливая, напряглась, — как напрягается тетрадь, когда над ней заносят перо. Прошное чуяло живое. Живое, вошедшее тенью, было терпимо. Живое, которое хочет коснуться, — нет.

— Мистер Уэнлок, — сказал Феяс. — Послушайте меня, и слушайте внимательно, потому что я скажу это один раз. Помощник не лжёт клиентам. Вы просили оказаться здесь и изменить. Вы здесь. Изменить — вы можете. Прошное не заперто, оно только написано, а написанное переписывается — пером, по чернилам, дорого. Вы можете шагнуть туда и взять его за руку. Вы можете вложить конец в вашу собственную молодую ладонь. Всё можно. Но помните, что я сказал у двери: касающегося переписывает. Не ночь. Не брата. Вас. Я не знаю, как именно — у каждой двери свой почерк. Я знаю только, что знает лавка: прошное не берёт платы с мёртвых.

Оно берёт её с тех, кто к нему прикоснулся.

Тень старого Джосайи стояла и смотрела на воду, где сорок лет назад стояла ровная чернота, — и в этой черноте теперь, для глаз тени, снова была рука, снова была голова, снова были глаза, нашедшие конец в чужой ладони. Прошрое умело это: оно показывало вошедшему не то, что было, а то, что он нёс. В этом и состояла его ловушка, старая, как вода: в прошлом всегда происходит то, чего ты боишься, — и это правда, потому что прошрое и есть то, чего ты боишься, оформленное в ночь.

— Скажи мне одно, мальчик, — сказала тень. — Ты выводил их обратно? Тех, кто касался?

— Нет, — сказал Феяс.

— Никого?

— Никого, — сказал Феяс. — Я выхожу один. Всегда один. Это моя работа — выходить.

— И не жалко?

Феяс подумал. Он редко думал перед ответом — ответы у него лежали ровно, как перья, — но тут подумал, потому что вопрос был не из тех, что задавали ему раньше. Вопросы ему вообще задавали редко.

— Нет, — сказал он наконец, и это была правда, чистая, как стекло. — Не жалко. Мне не бывает жалко. Мне бывает — холодно.

Тень старого Джосайи медленно повернулась к нему — воздух повернулся, сорок лет повернулись, — и Феяс почув-

ствовал на себе взгляд, которого не было: взгляд тени, последний взгляд человека, который всё решил.

— Тогда смотри, мальчик, — сказал старый Джосайя Уэнлок. — Смотри до конца. Это ведь и твоя работа — смотреть до конца.

И он шагнул.

7а

Он шагнул не к брату. Феяс отметил это сразу — отметил, как отмечал всё: холодно, ровно, без удивления, потому что удивление давно перестало быть его работой, — но отметил. Сорок лет этот человек говорил себе: «бросить конец». Сорок лет он нёс эту фразу, как несут камень. И теперь, когда туман принял его тень, когда ночь легла поудобнее, когда приживалы слетелись и замерли, разинув человеческие рты, — он шагнул не к бечёвке. Он шагнул к молодому Джосайе — к себе.

И коснулся.



Человек, касающийся собственной памяти

Феяс видел много прикосновений к запретному — в этой работе их видишь много, — но такого он не видел никогда. Не было вспышки. Не было грома. Было — как когда перо, занесённое над чистой страницей, вдруг макают не в чернила, а в воду, и вода в чернильнице идёт мутным цветком: ночь пошла мутным цветком. Туман дрогнул. Газовый фонарь мигнул — в ту сторону, куда не мигают фонари, вглубь, в прошлое в прошлом, — и звук, который всю ночь опаздывал, вдруг догнал всё разом: всплеск, крик, скрип льда под подошвой, удар, шепот, — сорок лет звука обрушились на набережную в один удар, и Феяс, у которого не бывало стра-

ха, почувствовал, как у него холодеет то, что у других людей холодеет от страха.

Приживалы взвились. Все разом — мокрые, бледные, разинутые, — и взвились не вверх, а в стороны, как взвивается рой, в центр которого бросили камень, и Феяс понял: камнем был не Джосайя. Камнем было то, что сейчас переписывалось.

Старый Джосайя держал молодого за руку. За ту самую, с концом. И молодой Джосайя — Феяс видел его лицо сквозь муть пошедшей цветком ночи, — молодой Джосайя смотрел на то, что его держит, и видел: перед ним стоял старый человек в хорошем старомодном пальто, с пустой петелькой на жилете, с трещинами-лучиками у глаз, с его собственным лицом, съеденным сорока годами, как съедает вода камень. Секунду они смотрели друг на друга — тень и плоть, шестьдесят один и двадцать один, — и никто не знает, что они увидели, потому что ни тот ни другой не успел сказать. Переписывание не ждёт слов. Оно работает, как работает вода: быстро и навсегда.

— Брось, — сказал старый Джосайя. Голос его здесь, в сорвавшейся ночи, был слышен впервые по-настоящему — громкий, молодой, странно спокойный. — Слышишь? Брось конец. Брось сразу. Не считай.

И молодой Джосайя — переписываемый, мутный, встающий цветком, — молодой Джосайя кинулся к кромке, и конец свистнул в воздухе, и лёг на воду — туда, куда надо, че-

рез плечо, под руку, — и из воды, из чёрного, ударила вверх рука и нашла бечёвку, и вцепилась.

Ночь закричала. Не голосом — всей собой: скрипом досок, звоном стекла в фонаре, шорохом тысяч срывающихся бледных крыльев, — потому что в ней что-то переписывали, а прошлое, как всякая книга, кричит, когда по ней пишут. И Феяс увидел — он смотрел, это была его работа, смотреть до конца, — он увидел, как переписывается касающийся.

Старый Джосайя Уэнлок стоял на причале, и пальто на нём мокло. Сначала на плечах, потом ниже — темнота воды шла по сукну вверх, против всякой логики, против гравитации, — вода сорокалетней давности, ноябрьская, чёрная, поднималась по нему, как поднимается уровень в сифоне. Он молодел. Феяс видел: трещины-лучики у глаз разглаживались, плечи распрямлялись, руки, узловатые, в пятнах, наливались гладкой силой двадцати одного года, — и одновременно с этим он становился прозрачным для этой ночи и плотным для той, другой, — потому что ночь, в которой Гидеон Уэнлок выжил, не имела в себе старого Джосайи. В ней имелся только один Джосайя. И он сейчас шёл ко дну.

— Мальчик, — сказал Джосайя Уэнлок — обоими своими голосами, старым и новым, потому что голос его переписывался вместе с ним. — Мальчик. Скажи старику: я получил ровно то, что просил?

— Ровно, — сказал Феяс. — Вы оказались там. И вы изменили.

— Хорошо, — сказал Джосайя Уэнлок. — Хорошо. Тогда всё честно.

Он посмотрел на брата. Гидеон — молодой, живой, мокрый — лежал на досках, цепляясь за бечёвку, и кашлял воду, и кашель его был самым громким и самым прекрасным звуком этой ночи, потому что это был звук человека, который дышит. А над ним, на коленях, молодой Джосайя держал его руку — держал, не отпускал, — и что было на его лице, переписанная ночь знала одна.

А потом старый Джосайя переступил кромку — не шагнул: переступил, аккуратно, как переступают порог, — и вода приняла его, как принимала всё, что ей платили: без всплеска, навсегда. Последнее, что видел Феяс, было его лицо — гладкое, молодое, спокойное, — и на нём, на одну секунду из одиннадцати, было то же, что было когда-то на лице его молодого: облегчение. Только теперь оно значило другое. Или то же самое. Феяс не знал. Некоторые надписи, написанные просто, читаются двояко, и в этом их смысл.

Вода стала ровной.

Где-то в тумане закричали — живые, настоящие, поздние, — и заплескались вёсла, и ночь, переписанная, пошла дальше, уже новая, уже другая: с лодкой, с фонарями, с двумя живыми сыновьями у одной бечёвки, — а Феяс стоял и смотрел, и одиннадцать секунд, новые, честные, текли над ним, и по лицу его, по фарфоровой бледности, по серым миндалевидным глазам, ничего не шло, потому что он не умел, —

но руки его, холодные всегда, стали чуть холоднее, и под кожей ладони, там, где вписывались буквы несуществующего алфавита, новая буква легла глубже всех.

Он один видел, как на том берегу, у лестницы, в чёрной воде, что-то большое, свернувшееся, дышащее, медленно, не спеша, повернуло к переписанной ночи то, что было у него вместо лица, — посмотрело, — и свернулось обратно. Вода помнит всех, кого ей платили. У старой воды хорошая память и много времени.

Феяс постоял ещё — до конца, как полагалось.

Прошрое, переписанное, принялось докручивать себя до конца.

Феяс не знал, как это делалось; он знал только, что делалось это всегда, когда ночь менялась: время за дверью, послушное, как гипс, шло теперь быстро и не по часам — не днями и не неделями, а кусками, как идёт кино, когда оператор крутит ручку чуть быстрее жизни. Туман вставал и ложился. Фонарь гас и зажигался. На набережной появлялись люди — много людей, живых, настоящих, с лицами, которых не было в той, первой ночи, — и появлялись сети, и багры, и полицейская лодка с фонарём на носу, и чёрная вода между причалом и баржой перестала быть ровной: её бороздили, её искали, её читали, как читают страницу, зная, что слово там одно.

Его нашли на третий день — прошлое показало это Феясу за три вдоха, — ниже по течению, у угольного причала, куда вода носила то, что ей платили, когда река решала, что плата принята. Его несли берегом, на носилках, под мокрой парусиной, и парусина лежала на нём так, как лежит на юном — ровно, без горбов, которые оставляют годы, — и следовательно, тот самый, что в другой ночи писал «бросал конец, тонули вместе, почти», писал теперь другое, и перо его скрипело одинаково в обеих ночах, потому что протоколы не ме-

няются, меняются только имена в них. Феяс стоял на берегу тенью, которой не было, и смотрел, как молодой Гидеон Уэнлок — мокрый, живой, с перевязанной ладонью, разорванной о промасленную пеньку, — смотрит на парусину и не плачет: плач придёт потом, годами, ночами, — а сейчас он смотрит так, как смотрят на воду, которая отняла и не объяснила. Рядом с ним стояла девушка — Элис, дочь лоцмана, — и держала его за рукав, обеими руками, как держат то, что чуть не упало.

Были похороны. Прошрое, аккуратное, как бухгалтер, показало и их: ноябрьское кладбище вверх по реке, мокрый гравий, шесть человек под зонтами, и гроб — простой, верфский, его сколотили свои, рабочие «Уэнлок и сыновья», отказавшиеся от денег, — и на крышке, на медной пластинке, имя, которого сорок лет не должно было быть на кладбище: ДЖОСАЙЯ УЭНЛОК, 1887–1908. Гравий упал на крышку — раз, другой, — и звук этот в хранимой ночи был единственным, который не опаздывал: гравий по крышке звучит всегда вовремя, в любой ночи, в любой из написанных книг. Гидеон стоял без шляпы, под дождём, и Элис держала его за рукав, и отец, старый Уэнлок, стоял чуть в стороне и смотрел на гроб так, как смотрят на завешание, которое переписывать поздно. А Феяс стоял тенью за шестью зонтами и думал — холодно, ровно, как думал всегда, — что вот оно: «он» похоронен вместо него. Брат жив. Мир переписан по чернилам, и чернила сохнут, и никто, кроме лавки, не помнит дру-

гой ночи, другого гроба, другого имени на пластинке.

А потом прошлое свернулось — аккуратно, как сворачивают карту, по которой дошли, — и Феяс снова стоял один на пустой набережной, и ночь была новой, и туман был тем же, и вода была ровной, и ничто — ни доска, ни леер, ни фонарь — не говорило о том, что здесь кто-то стоял сорок лет с неброшенным концом. Ночь была закрыта, как закрывают том, который прочитали и переписали.

Феяс постоял ещё — до конца, как полагалось, — а потом повернулся и пошёл обратно сквозь туман, один, как ходил всегда, потому что это была его работа: выходить.

Обратная дорога через прошлое была длиннее прямой.

Так бывало всегда — Феяс не знал почему; может быть, потому, что идти назад приходилось через то, что уже случилось, а случившееся плотнее неслучившегося, как плотнее снега снег слежавшийся. Он шёл по набережной, и набережная за его спиной доживала свою новую ночь: кричали люди, скрипели вёсла, кто-то бежал по брусчатке, не в лад со звуком своих шагов, и в этой суматохе, гулкой и запоздалой, было что-то умиротворённое, как бывает умиротворена комната после того, как в ней наконец разрешилась долгая болезнь. Ночь была переписана. Чернила сохли.

Приживалы провожали его до самого тумана.

Они не нападали — Феяс шёл, и они летели за ним на расстоянии вытянутой тени, мокрые, бледные, и их человеческие рты шевелились, и шёпот их лёг на затылок Феясу, как ложится на затылок чужое дыхание. Они не звали его — его нельзя было позвать, у него не было знакомых, и голосов у него не было, и в прошлом он был для них пустым местом, дырой в меню, — они просто смотрели ему вслед всеми своими ртами, и это было хуже любых голосов. Феяс шёл ровно. Он шёл по минному полю, и минное поле летело за ним стаяй, и он не ускорял шага, потому что проводник не ускоряет шага: проводник, ускоривший шаг, признаётся, что боится,

а страх в таких местах — это приглашение.

У самого тумана, там, где хранимая ночь начинала редеть до двери, одна из них спустилась ниже и пошла рядом с ним — не летела: шла по воздуху, семена сосочковыми лапками, которых у неё не было, — и сказала, человеческим ртом, голосом тихим и вежливым, как говорят клерки:

— Пепельный.

Феяс остановился. Не от слова — от того, что слово это он уже слышал. Незванные гости в верхних ярусах библиотеки шептали его иногда, ночами, когда думали, что он спит: пепельный, тот, кто не горит. Он никогда не спрашивал, что это значит. Он давно научился не спрашивать у темноты, как она его называет.

— Ты принёс нам перемену, — сказала приживала. — Мы не любим перемен. Мы сыты ими. — Человеческий рот её сложился во что-то, похожее на улыбку клерка, докладывающего о потере. — Но тебя мы помним. Ты приходил раньше. Не сюда. Но раньше.

— Вы ошиблись, — сказал Феяс.

— Мы не ошибаемся, — сказала приживала. — Ошибаться — это ваша работа. Наша — помнить. Тебя не горело тогда, и не горит теперь. Иди. Твоя дверь скучает. Она у нас одна такая — которая скучает по своему.

Феяс не ответил. Он пошёл дальше, и туман принял его, и приживалы остались за туманом, и шёпот их растворился в запоздалом звуке новой ночи, и только одно слово — «рань-

ше» — шло рядом с ним ещё несколько шагов, как идёт рядом запах, который нельзя смыть. Он отложил его. Он откладывал всё, что касалось его самого, в самую глубокую полку, ту, куда он не заглядывал, потому что за стойкой, в глубине библиотеки, у каждого хранителя есть такая полка, и у Феяса она была завалена уже так, что дверцы не закрывались.

Дверь стояла там, где он её оставил: дерево затонувшего пакетбота, часы-раковины, без тринадцати двенадцать, повторённое десятки раз. Только теперь — Феяс поднял свечу и увидел, и рука его не дрогнула, потому что его руки не дрожали, — теперь один циферблат, маленький, женский, похожий на пуговицу, вросший в дерево у самой воронки-шрама, шёл. Секундная стрелка его, тонкая, как волос, ползла по кругу, медленно, с трудом, как ползут по кругу последние капли, — и когда Феяс вставил ключ, которого не было, в воронку, стрелка дошла до двенадцати и встала.

Замок повернулся легко. Обратно всегда было легко — в этом тоже была честность дверей: войти стоило крови, выйти не стоило ничего, потому что выходил всегда один и тот же, и брать с него было нечего.

Он вышел в библиотеку. Даль встретила его обычной, рабочей темнотой — запахом пыли, воска, старой бумаги и того сладковатого миндаля, который Феяс теперь старался не понимать. Реки больше не пахло. Полоса воды у плинтуса исчезла. Дверь — Феяс не обернулся, но почувствовал затылком, как чувствуют, что за спиной погасла свеча, — дверь

уже начинала уходить: не исчезать, нет, исчезновение — это для вещей; двери уходили, как уходят гости: не сразу, с достоинством, оставляя после себя запах и маленькую пустоту, которую потом задвигают полкой.

Феяс постоял. Он всегда стоял так после — ровно столько, сколько нужно, чтобы то, что произошло за дверью, улеглось в нём на своё место, на нужную полку, в нужный ряд. Вода сорокалетней давности высыхала на его манжетах — единственное, что он вынес оттуда: мокрые манжеты и новая буква на ладони. Манжеты высыхали быстро: библиотека не любила чужой воды и выпивала её.

— Доброй ночи, — сказал Феяс в темноту дали — неизвестно кому: двери, которой уже почти не было, ночи, которой больше не было, человеку, которого больше не было, — и пошёл к стойке.

Старик ждал его за стойкой, и перед ним на конторской книге лежали часы.

Серебряные, потёмки пятнами, крышка открыта. Феяс видел их последний раз на ладони клиента, в зале, и с тех пор клиент ни разу не доставал их — Феяс это знал, потому что смотрел, — а значит, часы пришли сюда сами, как приходят на место вещи, у которых кончилась дорога. Под стеклом больше не было воды. Стекло было сухим, и циферблат был сухим, и стрелки — чёрные, тонкие — стояли не на без тринадцати двенадцать. Они стояли на без двух двенадцать, и это было время, которого не было ни в одной из ночей: время никакое, время вне счёта, время, в котором часы ставят, когда их кладут в ящик навсегда.

— Он оставил, — сказал старик. — Они всегда оставляют что-нибудь. Актриса оставила гребёнку — ты не видел, я убрал. Этот оставил часы. Хорошие часы. Дедовская работа. — Он повертел их в сухих пальцах, и железные очки его блеснули. — Вода ушла. Сорок лет стояла вода, и вот — ушла. Знаешь, куда уходит вода из таких часов, мальчик?

— Нет, — сказал Феяс.

— Обратно в ночь, — сказал старик. — В свою. Теперь там сухо. Теперь там лодка, и фонари, и двое живых у одной бечёвки, и похороны одни, и гроб с другим именем. — Он

положил часы на конторскую книгу и посмотрел на Феяса долго, внимательно, как смотрят на инструмент после трудной работы. — Лавка помнит обе ночи, мальчик. Мы с тобой — единственные, кто помнит обе. Мир помнит одну. Ту, новую. Для мира Джосайя Уэнлок утонул в ноябре восьмого года, двадцати одного года от роду, спасая брата. Газеты напишут — уже написали, сорок лет назад, — что он герой. Брат проживёт долго. Женится на Элис. Будет каждый ноябрь приходить к реке и не знать, почему у него в этот день болят руки. — Старик помолчал. — А мы будем помнить старого человека, который пришёл после полудня и пах рекой. Вот наша с тобой доля, мальчик. Не плата — доля. Помнить обе ночи.

— Он знал, — сказал Феяс. — Перед тем как шагнуть. Я сказал ему: переписывает касающегося. Он всё равно шагнул.

— Они всегда шагают, — сказал старик. — Ты думаешь, ты им мешаешь, когда предупреждаешь? Ты им помогаешь. Человеку, который сорок лет нёс камень, нужно, чтобы кто-то сказал: камень тяжёлый. Тогда ему можно наконец его положить. — Он снял очки, протёр их концом жилета, надел. — Ты спросил меня до двери: вернётся ли он. Ты никогда раньше не спрашивал до. Что ты думаешь теперь?

Феяс думал. Мысли шли со дна, глубокие.

— Он вернулся, — сказал он наконец. — Не сюда. Туда. Он сорок лет был там — и теперь наконец пришёл.

Старик смотрел на него, и глаза его за железными стёклами делали то, что делали редко: теплели.

— Вот поэтому ты и лучший помощник из всех, — сказал он. — Иди спать, мальчик. Вернее — иди, сделай то, что ты делаешь вместо сна. А я отнесу сферу. Эту я понесу сам: у меня к воде особый счёт.

Феяс кивнул — и отметил, как отмечал всё, отдельной строкой в голове: «из всех». Лавка была мала, помощник в ней был один, и сравнивать его было не с кем — на памяти Феяса. На памяти Феяса. А на памяти старика, длинной, как ряд З, — были, выходит, и другие: те, с кем сравнивают. Феяс не спросил. У лавки был вкус молчания, и этот вкус он знал лучше всех прочих вкусов на свете.

Он взял янтарный пузырёк — тёплый, с тёмной водой в глубине, с одной светлой точкой, похожей на отражение фонаря, — и подписанный ярлычок «УЭНЛОК. Река. Ночь. Просит быть там» висел на нём, как висит на чемодане билет в один конец, — и старик пошёл через арку в библиотеку, маленький, сухой, в девяти карманах, и Феяс слушал, как удаляются его шаги между рядами В, Г, Д, дальше, до самого конца алфавита, туда, где полки были высокими и ставились не по алфавиту, а по голоду. Где-то там был ряд воды — Феяс знал его: сферы там тлели зеленовато, и пузырьки на тканевых салфетках стояли чуть плотнее, чем в других рядах, потому что вода любит компанию. Теперь там будет одной больше.

Феяс остался в зале один.

Колокольчик висел над дверью и молчал. Механическая птица спала, поджав латунные пальцы. Шахматная партия стояла недоигранная — белый ферзь смотрел в пустоту доски, и Феяс, проходя мимо, поправил его на полдьюма, не потому что так было надо, а потому что ему не нравилось, как тот смотрит. Кукла без лица сидела в витрине, и туман за стеклом был теперь обычным, лондонским, ничего не помнящим туманом. Часы на стенах стояли все — на половине седьмого, на половине седьмого, на половине седьмого. Утром старик разберёт их, и просушит, и заведёт, и они пойдут снова, все, кроме тех, что решат не идти: такие часы старик сдавал в дальнюю полку, в ряд к тем, что уже стояли там, и полка эта была у лавки тем, чем у людей бывает ящик стола, куда складывают то, что нельзя выбросить и нельзя носить.

Феяс взял со стойки часы Гидеона — холодные, сухие, мёртвые теперь по-настоящему, — и открыл было ящик под стойкой, куда складывалось оставленное, и не положил. Он стоял и держал их, и они лежали в его холодной ладони, и он смотрел на без двух двенадцать, на никакое время, и думал о том, что у каждого человека есть часы, которые идут один шаг в год, просто не каждый это знает, и не каждый сидит над ними всю ночь, чтобы увидеть шаг. Сорок раз этот человек видел шаг. На сорок первый год шагать стало некому — и не потому, что механизму конец. А потому, что наконец пришёл тот, кто должен был шагнуть сам.

Он положил часы в ящик. Крышка легла мягко, как ложится крышка там, где хранят то, чему уже нечего ждать.

9а

Это была ночь, когда менялся счёт.

Феяс понял это не по часам — часы стояли все, раскисшие, разобранные, разложенные на сукне, — а по шахматам. Он проходил мимо стойки и увидел: партия, недоигранная, стоявшая так уже давно, изменилась на один ход. Чёрный слон стоял теперь на другое поле — глупое поле, открытое, висючее, — и белый ферзь, которого Феяс поправил на полдьюма ещё днём, смотрел на это поле так, как смотрят на подарок, который не решаются взять. Белые играли плохо. Белые всегда играли плохо — старик говорил это с отчаянием болельщика, который сорок лет болеет за заведомо слабую команду и не может перестать, — и сегодня чёрные предложили им слона, и белые, Феяс знал это заранее, возьмут его через ночь и попадут под связку, и старик утром встанет над доской и скажет: «Ну что ты делаешь, дурачина», — тихо и с той нежностью, какую он не позволял себе ни к кому, кроме деревянных дураков на клетчатом поле.

Феяс не трогал фигур — в ночи, когда менялся счёт, их нельзя было трогать; он однажды попробовал, давно, и слон под его пальцами стал таким холодным, что кожа прилипла, — он просто стоял и смотрел на доску, и тишина в лавке была полной, глубокой, высланной, как тишина в колодце. Механическая птица не пела — в эту ночь никто в лавке не

лгал, потому что в лавке не было никого, кто мог бы лгать, и птица спала, поджав латунные пальцы, и клетка её качалась от чего-то, чего не было: от сквозняка, которого не существовало, или от того, что клетки иногда качаются сами, от старости, как качаются от старости качалки. Кукла без лица сидела в витрине лицом к тупику. Подзорная труба на своей подставке была направлена в стену — её всегда ставили в стену, потому что однажды, давно, кто-то посмотрел в неё, направленную на улицу, и увидел море, не имеющее берегов, и неделю после этого плакал, не помня о чём.

Феяс стоял в этой тишине, и она была ему привычна, как привычна тишина в собственном черепе, и он думал — он позволял себе думать по ночам, когда лавка спала, если лавка спала, — он думал о том, что сегодня в мире стало одним человеком меньше и одним человеком больше, и счёт сошёлся, и никто не заметил, кроме доски с шахматами, которая в ночи, когда меняется счёт, ходит сама. Чёрные предложили слона. Мир взял. Всё как всегда.

Он взял со стойки подсвечник и пошёл через арку — в библиотеку, к стене со сферами, потому что в ночи, когда менялся счёт, он не мог сидеть в камерке, узкой, как гроб, который решил стать комнатой: ему нужно было быть рядом с теми, чей счёт уже записан. Сферы тлели в темноте сотнями маленьких тёплых сердец, и Феяс шёл между рядами, и говорил им по одному слову, как говорил всегда, — «спи», «спи», «доброй ночи», — и сферы отзывались теплом, пото-

му что они были тёплые, все до одной, хотя тёплая и живая — не одно и то же.

И только у самой дали, там, где полки ставились по голоду, а не по алфавиту, он остановился, потому что там, на верхней полке, было пустое место — старое, запыленное, от сферы, изъятой когда-то давно, до Феяса, или до того, что Феяс помнил как Феяса, — и рядом с ним, новое, от несуществующей двери, куда старик отнёс часы, которые решили не идти. Пустые места на верхней полке Феяс не считал. Он вообще старался не смотреть на верхнюю полку — не из страха: из приличия, как не смотрят на чужой заросший сад через щель в заборе. Но сегодня он посмотрел — один раз, быстро, — и увидел то, что видел всегда: пыль, и пустоты, и одно место, где пыль была стёрта недавно, чужой, маленькой, сухой ладонью.

Он не стал думать об этом. Он отложил это на глубокую полку, где дверцы не закрывались, и пошёл обратно, и лёг в своей каморке, и закрыл глаза, и ночь, когда менялся счёт, прошла над ним, как проходит над дном реки то, что ищут сетями: гудя, медленно, и не находя.

Ночью Феяс не спал — он никогда не спал так, как спят люди, — и в эту ночь он сидел на полу у стены со сферами, там, где ряды кончались алфавитом и начиналась даль, и держал на коленях подсвечник, и пламя стояло ровное, потому что в глубине библиотеки не было сквозняков, а были только течения, и течения эти шли от дверей и к дверям, как идут течения от берега и к берегу.

Перед ним, на тканой салфетке, стояла сфера Джосайи Уэнлока.

Старик отнёс её в ряд воды, но Феяс потом пришёл и взял её — он делал так иногда, редко, и старик знал и не мешал, потому что помощник, который никогда не смотрит на сферы, — плохой помощник, а который смотрит слишком долго — опасный, и между этими двумя была тропа в волос шириной, и Феяс ходил по ней, как ходил по всему: ровно. Он не открывал пузырёк. Он смотрел сквозь стекло и сквозь дым на тёмную воду в глубине, и вода там переливалась медленно, не спеша, и светлая точка, похожая на отражение фонаря, качалась в ней, как качалась когда-то над чёрной стоячей водой между причалом и баржей.

Феяс думал о гнили.

Люди говорили: грех гниёт в человеке. Клиенты говорили это часто — те, кто приходил с рекой за плечами, с один-

надцатью секундами, с невыкинутым концом, — говорили: «оно гниёт во мне сорок лет», и имели в виду, что грех — это гниль, а они — дом, который она ест. Феяс смотрел на воду в сфере и думал: неправда. Всё наоборот, и в этом наоборот — весь механизм лавки, весь её хлеб. Грех не гниёт. Грех — железный. Грех — это гвоздь, забитый однажды, одним ударом, и дальше гвоздь стоит, и ржавеет ровно настолько, чтобы держаться крепче, — а человек вокруг него гниёт, и растёт, и строится, и всё, что в человеке есть живого, — коры, волокна, годовые кольца, — человек тратит на то, чтобы обогнуть гвоздь. Сорок лет. Дерево вокруг гвоздя — это не дерево с гвоздём. Это гвоздь с деревом вокруг.

И люди приходили сюда — Феяс знал это теперь так же твёрдо, как правила, — люди приходили не за золотом, не за молодостью, не за прошлым. Пламб пришёл не за золотом: он пришёл за чувством, что дно его жизни — это не дно, что можно копать и не стукнуться. Актриса пришла не за молодостью: она пришла за залом, за глазами, которые смотрят, за темнотой, которая дышит. А этот, сегодняшний, пришёл не за братом. Он сказал это сам, у стойки, честнее, чем все до него: «мне нужно, чтобы человек с концом сделал то, что должен был сделать». Человек с концом. Не Гидеон. Он пришёл за собой — за тем собой, который бросает конец сразу. Люди всегда приходят за собой. В этом и состояла лавка: она была единственным местом в Лондоне, где за это платили заранее и получали точно по весу.

Феяс вспомнил лицо молодого Джосайи над водой — одну секунду из одиннадцати, облегчение, простое, как надпись на заборе: «теперь — я». И вспомнил лицо старого Джосайи над той же водой, сорок лет спустя, — то же облегчение, то же выражение, и только значившее теперь противоположное. «теперь — не я». Феяс держал эти два лица в памяти, как держат в двух ладонях две монеты, и не мог понять, какая из них фальшивая. Может быть, обе настоящие. Может быть, человек — это и есть монета, у которой обе стороны настоящие, и цена её зависит только от того, какой стороной её положили на стол. Двери знали цену. Двери всегда знали цену — в этом они были честнее людей: люди торговались сами с собой, а двери брали по весу.

Он вспомнил, что сказала приживала. «Ты приходил раньше. Не сюда. Но раньше». Феяс посидел с этим, как сидят с гвоздём, который шевельнулся в дереве. Он не помнил никакого «раньше». До лавки у него была белизна — снег, или лёд, или комната, выбеленная до того, как в неё кого-то пустили, — и рука в тёмной перчатке, и колокол, и тихое пение у самого уха, и на дне всего этого — что-то большое, свернувшееся, дышащее. Больше не было ничего. Возможно, «раньше» было там. Возможно, приживалы путали: у них были человеческие рты, но не было глаз, а без глаз все лица похожи. Феяс отложил это на глубокую полку, на ту, где дверцы не закрывались, и полка приняла, как принимала всё: молча и навсегда.

Вода в сфере качнулась.

Феяс поднял её — осторожно, двумя пальцами под тёплое дно янтарного пузырька, как поднимают то, что спит, — и поднёс к свече, и посмотрел сквозь. Сферы показывали — при изъятии и потом, иногда, если знать, как смотреть, а Феяс знал: запахи, температуру, обрывки жизни. В этой сфере пахло рекой. Не той, ноябрьской, чёрной, стоячей — другой: летней, широкой, с запахом нагретой пеньки и дёгтя, с криком чаек, и в обрывке, который качался теперь перед внутренним глазом Феяса, старик с седыми, коротко стриженными усами сидел на складном стуле у самой воды, на пустом сентябрьском берегу ниже по течению, и смотрел на воду, и на коленях у него лежала плоская модель шляпки — мальчишеская работа, медная чеканка по дереву, — и старик не запускал её. Он просто держал. Он приходил сюда каждый год, в конце октября или в начале ноября, когда первый чёрный лёд начинал думать о том, чтобы быть, — приходил сорок лет и сидел, и держал на коленях модель, и не знал, почему в этот день у него болят руки, — руки, которыми он когда-то, в другой жизни, в другой ночи, вытащил из воды брата. Или не вытащил. Мир помнил одну ночь. Лавка помнила обе. А руки — руки помнили третью, настоящую, которую не знал никто, кроме воды.

Гидеон Уэнлок, шестьдесят лет, живой. Брат, ради которого всё. Феяс смотрел на него сквозь стекло и дым и воду, и старик на берегу вдруг поднял голову — не от звука; от

того, от чего поднимают голову, когда кажется, что на тебя смотрят, — и посмотрел на воду, внимательно, без страха, как смотрят на воду люди, выросшие на ней, и Феяс не знал, видит ли он что-нибудь, — а потом старик опустил глаза, и пошевелил модель на коленях, и сказал что-то — в сфере звука не было, сферы не давали звука, — но по губам, по тому, как они сложились, Феяс прочитал. Люди говорят это слово по-разному, а старики — одинаково.

«Джос», — сказал старик у воды. И убрал модель в седельную сумку, и встал, и пошёл вверх по берегу, в туман, в ту жизнь, которая была теперь единственной.

Феяс поставил сферу на салфетку. Пламя свечи стояло ровное. Вода в стекле перестала переливаться и стала — спать, или делать то, что делает в сферах то, что когда-то было третью весом человека, который пришёл после полудня, пахнувший рекой.

— Доброй ночи, — сказал Феяс.

Он отнёс сферу в ряд воды — сам, босиком по холодным доскам, со свечой, между тлеющими янтарными угольками чужих душ, — и поставил её между двумя пузырьками, у которых ярлычки выцвели до нечитаемости, и сфера потеплела под его ладонью, как теплеет то, что узнало руку, и затихла. Ряд воды принял её. Вода любит компанию.

А утром двери не было.

Феяс вышел в библиотеку до рассвета — рассвет в тупике Чёрного Фонаря наступал не так, как у людей: не светлело небо; светлело витринное стекло, — и прошёл в даль, и встал там, где вчера стояла дверь из дерева затонувшего пакетбота. Теперь там стояла стена, как вчера утром, как всегда: плитус, восемьдесят лет мыслимых ног, никаких часов, никакой воронки-шрама. Только на досках пола, там, где был порог, лежала горстка мокрых опилок и полоска серой соли — мелкой, речной, с песчинкой в каждом кристаллике, — и Феяс смести их не стал. Он постоял над ними, а потом достал из ниши совок и банку из-под керосина и собрал опилки и соль, потому что лавка любила порядок, а оставлять такое лежать было нельзя: от такого у пыли менялся вкус, а у тварей в верхних ярусах — аппетит.

Ключ, которого не было, тоже не было. Кармашек на жилете был пуст и чуть охлаждал кожу, как охлаждает место, где долго лежала монета. Седьмого не существовало. Кольцо на крюке снова было честным, шестиключным, и Феяс повесил его на место, и дерево вокруг крюка было чёрным, как чернеет вокруг старой раны, и всё было как всегда, и не было как всегда ничего, потому что лавка помнила обе ночи, а Феяс помнил вместе с лавкой, и доля эта — помнить — весила

больше, чем любая сфера.

В зале старик уже разбирал часы. На стойке, на сукне, лежали вскрытые механизмы — колёсики, пружины, платины, — и старик склонялся над ними с лупой, и руки его, маленькие и сухие, делали то, что умели: возвращали время тем, у кого оно раскисло. Будильник уже тикал — виновато, спеша, наверстывая.

— Опилки? — спросил старик, не поднимая глаз.

— Собрал, — сказал Феяс. — И соль.

— Хорошо. Соль — в огонь, не в помойку. От такой соли в помойке заводится. — Он повернул винтик на пол-оборота, и ходики над его головой тикнули и пошли. — Ночь была тихая?

— Тихая, — сказал Феяс. — Меня окликнули.

Старик остановил руки. Только руки — глаз за лупой продолжал смотреть на колёсико, и колёсико это, Феяс знал, будет наказано за то, что его рассматривают в такую минуту.

— Кто? — спросил старик.

— Приживала. В прошлом, на обратной дороге. Назвала меня так, как называют незваные гости. Сказала: ты приходил раньше. Не сюда. Но раньше.

Старик молчал долго — так долго, что ходики успели тикнуть девять раз, и Феяс считал, потому что считать было способом ждать, который не похож на ожидание.

— Приживалы врут, — сказал наконец старик. — Это их работа. Прошное держится на том, что было, а они держатся

на прошлом, и чтобы держаться, они говорят вошедшим то, что те хотят услышать, и то, чего боятся, — они не различают, у них для этого одни и те же рты. — Он взял следующий винтик. — Ты им поверил?

— Нет, — сказал Феяс.

— Правильно, — сказал старик. — Не верь тем, у кого нет глаз, мальчик. Без глаз все лица похожи, а похожесть — это дешёвый товар, его у нас не принимают даже в задаток. — Он повернул винтик, и в голосе его, сухом и ровном, было что-то, чего Феяс не различил тогда, а вспомнил потом, много глав спустя, когда различать стало поздно: заботу, глубоко закопанную, как закапывают в саду то, что нельзя выбросить и нельзя держать в доме. — Часы я доделаю сам. Ты иди за стойку. Сегодня может быть народ — после гостии-двери всегда народ, лавка пахнет сильнее, когда дверь уходит. Как после грозы.

Феяс пошёл за стойку. Соль он сжёг в маленькой печке за парчовой занавеской, и соль горела зелёным, и пахла рекой, и кран при этом запахе задрожал — маховик-четырёхлистник, латунный, — и вода в кране, та самая, что помнила дождь, которого ещё не было, на миг пошла не так, как всегда, а Феяс смотрел на зелёное пламя и не думал ни о чём, потому что он умел не думать, и это было единственное, что он умел лучше всего на свете.

К полудню, как и сказал старик, пришли. Сначала старушка с желанием «чтобы письмо пришло» — старик выслу-

шал её, и посмотрел на неё поверх очков, и сказал: «Не сегодня, мэ. Письма — не к нам. Письма — к тем, кто пишет», — и отпустил её, и она ушла, и колокольчик прозвенел ей вслед облегчённо, потому что он не любил тех, кого отпускали поздно. Потом пришёл мальчишка-газетчик, принести утренний выпуск — он приходил каждый день и никогда не видел ничего, кроме пыльной лавки и мрачного мальчика за стойкой, и Феяс платил ему и иногда читал газету, не открывая: по запаху типографской краски можно было узнать главное, а подробности в этом мире редко меняли главное. В газете, на четвёртой полосе, под заголовком о приливах, было три строки: в Черной стенке нашли, сорок лет спустя, при переборке старого причала, серебряную цепочку без часов. Феяс прочитал это пальцами, по запаху, и сложил газету, и положил под стойку, и не сказал старику, потому что старик и так знал: лавка докладывала ему раньше газет.

А вечером, когда туман за витриной стал тем цветом, который в Лондоне назывался вечером, Феяс стоял за стойкой, и часы на стенах шли — все, кроме одних, которые решили не идти и теперь стояли в дальней полке, в ряду тех, кому уже нечего было считать, — и лавка стояла вокруг него, и тикала, и дышала миндальным, сладковатым, пыльным воздухом, и Феяс думал о том, что из всех запахов мира этот единственный пахнет тем, что люди отдали сами.

Колокольчик над дверью был неподвижен. Треснувшая медь его с тихим внутренним звуком — Феяс слышал его, как слышат ток в проводах, — готовила тот самый, новый звук, тихий и почти нежный, для того, кто шёл к лавке неделями и годами, не зная, что идёт; в груди у этого кого-то пустота уже была размером с колодец, и колокольчик слушал её наисквозь, через все улицы и туманы, и подстраивал под неё свою трещину. Но это было потом. Это была другая глава.

Сейчас Феяс стоял за стойкой, и перед ним на конторской книге лежал лист, и он писал — он иногда писал по вечерам, ровным, старомодным почерком, чернилами цвета грозового неба, которые не кончались никогда, единственное в лавке, что не кончалось, — писал не письмо и не счёт: список. Список тех, кого помнила лавка. В нём были все: Пламб, золото, хранилище; Маргарет Вэйл, молодость, стекло; и те-

перь — Феяс вывел ровно, не спеша, потому что спешить было некуда, — «Уэнлок. Река. Ночь. Просил быть там. Был».

Он помолчал. Потом — он делал это впервые за все годы, если годы здесь считались, — он дописал, ниже, мельче, так, как пишут то, что не входит в счёт, но входит во всё остальное:

«Одиннадцать секунд. Бросил».

Список не был правилом. Список не был долгом. Список был тем, что делает проводник, когда выходит один, — вечер за вечером, дверь за дверью: отмечает, что кто-то был, и что этого кого-то больше нет, и что ночь, которую он изменил, стоит теперь где-то за стеной, хранимая, терпеливая, с лодкой, с фонарями, с двумя живыми у одной бечёвки, — и что где-то в этой ночи, на глубине, лежит человек, который наконец-то сделал то, что должен был сделать, и лежит спокойно, потому что вода, принявшая его, была честной ценой, а не наказанием.

Он перечитал список — не весь: имена. Их было много, и почерк над ними менялся, не меняясь: ровный, старомодный, всегда его и всегда чуть-чуть не его, как бывает не своим почерк человека, который пишет одно и то же слово много лет. На первых страницах — пожелтевших, чужих — стояли имена, выведенные похожей рукой: тот же наклон, те же хвосты, та же точка над строкой. Прежний помощник. «Там же, где все», — сказал старик когда-то, и Феяс с тех пор не листал список на ночь, а днём листал, потому что днём все

мертвецы вежливее. Он дошёл глазами до имени Маргарет Вэйл и остановился на нём — впервые: раньше он не останавливался ни на одном, — и вспомнил медную усмешку, и жест, которому её учили сто лет назад, и подумал, что усталость, о которой говорил старик, должно быть, и есть вот это: когда имена перестают быть строчками и становятся людьми, которых ты проводил. Он закрыл список. Работа есть работа: веди, открывай, входи, выходи. Всё остальное — усталость, а усталость не входила в правила.

Феяс закрыл чернильницу. Он снял колокольчик — на ночь его полагалось оставлять, но сегодня Феяс снял его на минуту, подержал в ладони, тёплого от целого дня над тёплой лавкой, треснувшего, залитого тёмным, — и сказал ему тихо, как говорил сферам:

— Спи.

Колокольчик не ответил — он никогда не отвечал, он только слушал, в этом состояла его работа, — и Феяс повесил его обратно, и встал за стойку, и сложил руки на свежей странице списка, и стал ждать, потому что ждать было его работой, а лавка любила, когда её ждали.

За стеной, в хранимой ночи, шёл мелкий, никому не нужный ноябрьский дождь, и вода между причалом и баржей стояла ровная, и на дне её, там, куда не доставали фонари, лежал человек с гладким молодым лицом, и на лице этом, если бы кто-нибудь умел видеть на такой глубине, было то, что бывает у тех, кто наконец донёс до места то, что нёс со-

рок лет.

Покой.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 3

«**Дверь в прошлое**»(раздел 4) — дверь из дерева затонувшего пакетбота; в доски, как раковины в борт, вросли десятки часов; все стрелки стоят на без тринадцати двенадцать; по плинтусу — полоса стоячей воды, отражающая пламя, которого нет.

«**Человек, касающийся собственной памяти**»(раздел 7а) — причал в тумане, газовый фонарь; старый человек-тень держит за руку молодого себя с бечёвкой; вокруг взвиваются бледные приживалы с человеческими ртами; внизу, в чёрной воде, — рука, нашедшая брошенный конец.

«**Одиннадцать секунд**»(раздел 6) — молодой человек с промасленной бечёвкой стоит на обледенелом причале над ровной чёрной водой; из воды — рука брата; на лице стоящего — секунда облегчения; звук опаздывает: всё вокруг держится неподвижно, как под стеклом.

Глава 4.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.